

-8

Fonto

Solo

ФОЛО

СОЛО

**ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ЭССЕ**

МОСКВА 1991

литературно-художественный журнал

Издатель

производственно-коммерческий центр "АЮРВЕДА"
101000, Москва, ул. Мясницкая, 40

Редакционная коллегия

Андрей БИТОВ
Анатолий ГАВРИЛОВ
Зуфар ГАРЕЕВ
Владимир ЗУЕВ
Леонид КОСТЮКОВ
Александр МИХАЙЛОВ
Евгений ПОПОВ

Представитель редакции за рубежом

Дмитрий ДОБРОДЕЕВ

München Ring 2, 8044 Unterschleißheim Germany
Tel. 089-317 54 86; Fax 089-310 49 47

Желающим получить журнал "СОЛО" необходимо перевести 3 руб. 50 коп. за каждый номер почтовым переводом (организации могут оплатить платежным поручением) на р/с производственно-коммерческого центра "АЮРВЕДА" — № 4461632 в Бауманском отд. ЖСБ г. Москвы; МФО-201359. В графе "Для письменного сообщения" (в платежном поручении — "Назначение платежа") указать: "За журнал "СОЛО", №№ ...", затем выслать квитанцию об оплате с указанием номеров и количества экземпляров, а также подробного адреса и фамилии получателя по адресу: 109652, Москва, ул. Подольская, 25, кв. 212, "СОЛО".

Телефон для справок в Москве: 925-54-85

*Продажу журнала "СОЛО" за рубежом
осуществляет книготорговая фирма*

Kubon & Sagner Buchexport-Import GmbH
8000 München 34, Postfach 340108
Telefon: (089) 52 20 27; Telex: 5 216 711 kusa d;
Telefax: (089) 5 23 25 47

издается с 1990 года
6 выпусков в год

© "СОЛО", 1991

Заказ 206

Тираж 10000

Отпечатано в Подольском филиале ПО «Периодика»
142110, г. Подольск, ул. Кирова, 25.

В НОМЕРЕ

НОВЫЕ ТЕКСТЫ

Сергей САКАНСКИЙ	
Анекдот про преферанс	4
Взбзд	18
Мраморный дог	25
Андрей КОКОВ	
Стихи	36
Михаил ПЕКЛО	
Бананы и пельмени	40
Вячеслав КУРИЦЫН	
Поэтова счастье	45
Владимир ЗУЕВ	
Энциклопедия графомана (из романа "Черный ящик")	55
Владимир КУЗЕМКО	
Святые с оружием (наброски киносценария)	67
После взрыва	72

МОНОЛОГИ

Ольга ШАМБОРАНТ	
Попытка зависти	78
Попытка нравственности	81

ПАНТЕОН

Андрей КАВАДЕЕВ	
Сокровенный Венедикт	85
Наташа ВЕРХОВЦЕВА-ДРУБЕК	
"Москва – Петушки" как <i>parodia sacra</i>	88

Сергей САКАНСКИЙ

АНЕКДОТ ПРО ПРЕФЕРАНС

В последние дни заезда выдалась чудесная погода, как бы предусмотренная администрацией курорта в числе прочих развлечений. Солнце делало свет, пальмы делали тень, желающие получали и то и другое.

По ночам молча прощались влюбленные. Прощание было столь же коротким, как любовь, молниеносная, краденая, не успевающая раздеться, — она воплотила самые грешные желания зимних ночей, бессонницы и одиночества.

В последний день заезда, как и во все прочие дни, на пляже военного санатория сидели лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники и полковники, а также их жены. Хотя они были одеты в самые гражданские, ярких цветов плавки — то, что они люди военные, можно было определить сразу — по хорошо поставленным голосам, неподвижным взглядам, точности отработанных движений.

В последний день заезда, в утро его, играла в карты на пляже одна дружная компания. Играли, перекидывались шутками и обменивались анекдотами, извлеченными уже с самого дна памяти:

— Значит, полковник, поручик и корнет сидят за преферансом. Полковник проигрывает (дама). Спрашивает корнета: "Вы что говорите жене, если приходите проиграмшись?" Корнет отвечает: "Я не женат, товарищ полковник". Он — поручика: "А вы?" (опять дама). — "А я тоже не женат, товарищ полковник. Но у меня есть любовница. Я ложусь к ней под крылышко, целую в шейку, и она все понимает..." Значит, полковник в эту ночь проигрался. Приходит домой, ложится под крылышко к жене, целует в шейку — там темно было — а она ему и говорит (третья дама): "Вы опять проигрались... поручик?"

Все засмеялись. Громче всех смеялся майор. Два капитана — два Васи — смеялись приятными тенорками. Лейтенант заливался тонкой трелью подростка.

— Как тогда пили и в карты играли, — весело пробасил майор, — так и сейчас: пьем да в карты режемся. Российское офицерство всегда было первый сорт!

Играли они в "дурака".

"Дураком" чаще всего оставался лейтенант. Капитаны боролись за второе место. Майор остался "дураком" один раз, но как-то уж очень размашисто, нехорошо: сконцентрировал в больших ладонях всю возможную карту.

— Без званий, без званий, мы тут на отдыхе, — любил пошутить майор.

Они служили в разных подразделениях и в общий заезд попали случайно. Еще большей случайностью было то, что обоих капитанов звали "Васями", и фамилии у них начинались на одну букву.

Майор и капитаны были при женах, а лейтенант — холостой, хотя, как правило, военные женятся сразу после училища, чтобы строить прочную, счастливую семью.

У майора Соколова детей не было.

Их жены тоже сдружились и ходили всегда вместе — пышные и красивые женщины — Любочка, Наденька, Галочка — всегда смеющиеся и жадные до развлечений, которые курорт представлял в изобилии.

— У них, у баб, свои законы. Им, бабам, закон не писан, — любил пошутить майор.

В тот памятный день все было как обычно: майор играл с приятелями, и они сыграли до обеда 28 партий; жены сидели поодаль, вели душевную беседу. Иногда все вместе купались. Как-то не чувствовалось, что через сутки партнеры по отдыху простятся, быть может, навсегда.

Вася-большой острил и заразительно смеялся, однако громче и беспечнее всех хохотал майор. Это было тем более странно, что в кармане джинсов у него имелась записка, которую он нашел сегодня утром, во время завтрака.

Майору Соколову (лично).

Спешу сообщить Вам, уважаемый товарищ, что супруга Ваша сводня и блудит. Дабы удостовериться лично, приходите сегодня в 20 ч. 55 м. в беседку, что за туалетом.

Добржелагтец.

Майор был мужественным человеком и управлял эмоциями вполне — служба научила его стойкости духа. Вот почему он так весело смеялся, хотя о записке не забывал ни на минуту.

Супруга майора Соколова, Галина Анатольевна (урожденная Дзюба) до 15 лет жила в деревне Дзюбово Полдинского р-на Рюпинской области. После окончания семилетки поехала в Рюпинск и поступила в ПТУ № 3.

Она была тихой девочкой. Ее никто не обижал, а в школе ее давно не дразнили. Обычным ее занятием было сидеть где-нибудь и о чем-нибудь думать, или плакать ни о чем. Тогда выражение ее лица становилось детским, косички делали ее похожей на пионерку.

В училище она отрезала косы и вступила в комсомол. Условия в общежитии были никудышными, и вскоре она забеременела. Вечерами, если никого не было рядом, она тихо плакала на узкой своей кровати. Аборт ей сделали своевременно и не слишком больно.

Гале нравились люди в форме, не то, чтобы именно военные, но шире — любой человек, затянутый в форму (почтальон, милиционер), вызывал у нее уважение и полудетский интерес.

В общежитие курсанты заходили часто: военное училище было рядом. По воскресеньям Галя с другими девушками находилась у ворот с железной звездой. Девушки очень жалели курсантов за их нелегкую службу. Вскоре Галя забеременела вторично.

Подруги говорили: фи! — бестолковая, мол. Галя терпела, плакала. Аборт прошел удачно.

В год окончания училища, весной, молодой лейтенант предложил ей стать его женой. Галя согласилась.

Они переезжали из части в часть — Тула, Смоленск, Сухиничи, Брянск. Галя уважала мужа (старший лейтенант, капитан, наконец майор) и изменяла ему не часто. Подруги, офицерские жены, ее любили, но когда у подруг появлялись дети, они переставали с ней дружить, и у Гали находились новые — бездетные.

Детей у нее не было и быть не могло. Так сказала докторша, которая делала ей последний аборт. Она видела эту докторшу три раза в жизни и навсегда запомнила ее лицо с черной бородавкой у носа.

В отпуск они ездили в деревню и на юг. В деревне у Гали был любимый. Звали его Митей. Митя был коренным сельчанином и тоже носил фамилию Дзюба. Жена Мити работала в магазине.

На юге Гале нравилось больше. Они часто отдыхали в санаториях, и там общество собиралось самое изысканное — майоры, полковники, иногда генералы. Правда в санаториях, куда ездили супруги Соколовы, генералов было мало, и все они были периферийными.

В этот сезон Гале было скучно. Муж почти не обращал на нее внимания за картами и выпивкой, а Григорий (гвардии подполковник) был слишком молчалив. Одно ей безусловно нравилось в нем: он налетал внезапно, как юноша, стараясь причинить ей боль — на полуфразе отбрасывал папиросу, складывал пополам хрупкое тело женщины, закинув ее ноги себе на плечи, и долго, размашисто работал над ней, доводя ее до умопомрачения.

Она встречалась с Григорием в его комнате, в беседке, однажды днем среди виноградников. В земле были какие-то камушки или шишки, и Галя потом внимательно осматривала спину.

Внимательно осматривая спину, она вдруг поймала в зеркале собственный взгляд и подумала, что молодость ее уходит, что ни детей, ни внуков ей не нянчить, что муж так и выйдет в запас майором.

Капитан Кокорин никогда не был шпионом. Он считал себя честным человеком и был им.

Отец капитана Кокорина с оружием в руках защищал советскую власть. Дед капитана Кокорина верой и правдой служил царю и отечеству. Прадед, по семейному преданию, также был военным.

Капитан Кокорин прослужил положенные годы в N-ской части, много трудных лет служил капитаном, капитаном и вышел в запас. Теперь он работал лаборантом в НПО.

Бок о бок с ним трудились и другие отставные военные, в том числе и полковник Зуйков. Полковник Зуйков был волевым, прямым человеком, хорошим товарищем.

Благодаря старым связям Зуйков достал своей супруге путевку в санаторий. В разговоре за кружкой пива выяснилось, что в тот же санаторий отправляется и Кокорин. Зуйков попросил Кокорина (не в службу, а в дружбу, хотя никакой "службы" между ними, младшими лаборантами, быть не могло) попросил, значить, приглядеть за женой-то.

Капитан Кокорин никогда шпионом не был.

Он наотрез отказался.

После этого разговора до отпуска оставалось еще десять дней работать бок о бок с полковником Зуйковым. Иногда Зуйков поглядывал на Кокорина очень многозначительно, и Кокорин отворачивался.

На перроне он встретил полковника с женой. Никогда прежде он Зуйкову не видывал, и оказалась она женщиной красоты необычайной.

Ехала она в купейном; Кокорин, трясаясь в своем плацкарте, думал: как это можно — отпустить такую бестию на юг!

В свое время капитана Кокорина бросила жена Вера. У нее были такие же пышные груди и ровные белые зубы. Она очень любила улыбаться. Прежде, чем уйти, она несколько раз сильно ударила его ладонями по щекам.

Прибыв на место, капитан Кокорин осмотрелся. Море и солнце были в полном порядке. Зуйкову поселили в соседнем домике. Он видел ее из окна и на пляже, в аллеях парка и в столовой.

Он решил не посылать полковнику никаких донесений, а приехав, запросто, по дружбе рассказать ему все. А рассказывать было пока нечего.

Дорогой Афанасий Иванович!

Прежде всего уведомляю Вас, что шпионом я никогда не был, и никогда впредь им не собираюсь быть. Я искренне возмущен тем предложением, какое Вы мне по ошибке сделали. Живем мы здесь хорошо. Погода нормальная. Супруга Ваша, Клавдия Матвеевна, поправляется, цветет лицом и бой-

ка телодвижением. И ничего такого, как Вы ошибочно подозревали, пока нет.

С уважением, к-н запаса Кокорин А.В.

Это письмо он написал просто так, чтобы сделать приятное товарищу. Писал капитан Кокорин грамотно.

— Галочка, мне надо с тобой поговорить, — сказал майор Соколов, когда они вышли из столовой.

Жена пожалала плечами.

Они шли по плитам дорожки к своему карточному домику. Он видел ее худую спину и ее пернатую руку, которая легко отстраняла провидислые ветви дерева, похожего на иву.

— Что ты хотел, Ласточка? — спросила она, поднявшись на веранду.

Майор посмотрел в ее веселое лицо, которое спокойно отвергало даже само существование анонимки.

— Нет, ничего. Я просто хотел спросить насчет... будем ли заезжать в деревню по дороге?

— Ну, конечно, будем, Ласточка, — и глаза ее оживились, будто перенеслись взглядом в родное Дзюбово, к старикам.

Они вошли в домик. Майор ласково улыбнулся, привлек жену к себе и крепко, требовательно поцеловал в губы. Они опустились на кровать и долго, давно отработанными движениями возбуждали друг друга, потом несколько минут молча бились в соитии, ловко и слаженно меняя позы. Последние годы только на южном отдыхе майор Соколов позволял себе эти дневные приступы внезапной страсти.

Впервые он застукал жену 12,5 лет назад, когда еще был в звании "старлей". Его отпустили с дежурства раньше, бежал домой (помнится, морозец был), и с порога — чужая шинель, чужой запах, убегающая в чулан розовая задница. Почему-то запомнилась не реакция жены, не лицо паразита (салобона, москвичика) а именно это — его розовая испуганная задница, постыдно убегающая вдаль.

Как он его бил, мальчишечку! — бил и думал, что это еще не конец, что все еще впереди — мальчишечке еще больше года в роте...

Хорошую жизнь устроил солдатику "старлей"! Об этом романы, трагедии можно писать, хотя и так писано было немало в рапортах, когда разбирались, с чего это он, москвич, сын культурных родителей, застрелился в карауле?

Шли годы, и Соколов чувствовал, что жена потихоньку гуляет. Тогда поставил вопрос ребром: либо не фокусничать, либо — марш на улицу! И подкрепил хорошенькой трепкой.

Поддействовало. Жена стала молчаливее, но добрее, вни-

мательнее, и с тех пор — ни намека на прежнее. Забыто. А теперь — вот. Он перечитал бумажку. Безграмотно и глупо. Не идти?

Время шло к вечеру. Солнце исчезло, ослепительно мигнув в последний раз из-за гребня гор. Галочка упорхнула с подружками.

Майор надел пиджак и вышел.

Он бродил по парку, потом по набережной, снова по парку. Вокруг были люди — мужчины с женщинами, женщины с детьми... Приближалось время "Ч".

Вздор, думал майор Соколов. Быть теперь этого не может. И неотступно о прошлом: он — лейтенант, он — старлей, он — капитан; Галочка — учительница пения, Галочка — в белом платье с пояском; она — Галочка, он — Ласточка...

Ласточка одеревенел. Перед ним, за неровной сеткой кустарника, возвышалась крашенная дощатая беседка, в которую быстро вошла его жена. Мужчина — старая тень — встал. Она положила ему руки на грудь, приникла. Поцелуй.

Голова работала четко. Затаив дыханье, майор подкрался поближе. Кусты давали отличную маскировку.

Голос ее:

— Знаешь, он, кажется, что-то заподозрил...

Голос мужской (приятный бас):

— Неужели?

— Он сегодня так странно смотрел на меня...

Бас (не ниже подполковника):

— Значит, наше свидание не состоится?

— Да что ты! Все это пустяки, Ласточка...

Отброшенная папироска прочертила в воздухе ровную параболу; майор невольно проследил за ней, а когда вернулся взглядом в беседку, картина была уже иная: над низкой стенкой мрачно возвышалась голова мужчины с остановившимися внимательными глазами, а тонкие ножки Галочки, так больно знакомые, в беленьких плетенках, купленных по случаю весной, судорожно бились у него за плечами наподобие бессильных крыльев. Все шаткое сооружение беззвучно дрожало, и с крыши осыпались сухие сосновые иглы, и майор Соколов почувствовал, как даже почва вибрирует под его ногами, будто при легком землетрясении.

Он медленно, маскируясь, ретировался, повернулся и пошел без оглядки. Придя домой, он грохнулся на кровать. Ему хотелось одного: быстро, как после отбоя, заснуть. За стеной были смех, музыка, топот: там отмечали окончание заезда — пили и плясали, распаяясь для последней ночной оргии.

Клавдия Матвеевна была женщиной пышной, красивой. Капитан Кокорин и сам был не прочь за ней поухаживать.

Однажды он поймал себя на том, что ходит за ней весь день. Мне просто нечего делать, думал он, шахматы надоели, шашечки.

Клавдия Матвеевна сторонилась мужчин, и Кокорина даже досада взяла: ведь верных жен не бывает. Он вспоминал свою, у которой была красивая улыбка и пышные груди. Перед уходом она несколько раз с силой...

Внезапно сообразил: умело скрывает, курва! Вечером он ходил по территории и потирал руки. Разоблачу!

Однако, шпионом он никогда не был. Поэтому следить за изменницей ему было нелегко.

Он стал ходить за ней по пятам. На пляже он искал место рядом и забывал купаться. Как-то раз он забыл вовремя спрятаться в тень, и к вечеру у него поднялась температура.

Клавдия Матвеевна оставалась неизменно неприступной. Капитан Кокорин знал: это видимость. С температурой, еле передвигая ноги, потащился за ней в кинотеатр. Кино было невыносимо скучным. Клавдия Матвеевна сидела в обществе другой дамы, поплонее, и мужчин с ними не было.

После кино, однако, их провожали какие-то двое. Они были гражданскими, косолапыми. Заметив это, капитан Кокорин понял: ничего не будет. Офицерские жены должны презирать гражданских. Так и вышло: распрощались и амба.

Заезд подходил к концу. Последние дни капитан Кокорин не спускал глаз с Клавдии Матвеевны. На празднике Нептуна ее, как и многих красивых женщин, обмазали грязью. Вечером все разбрелись по кустам миловаться. А Клавдия Матвеевна смотрела по II-й программе художественный фильм.

Женская душа была загадкой для Кокорина. Он не мог понять, почему женщина, весь год честно трудящаяся, воспитывающая детей, здесь, на юге, обращается в похотливое, бесстыдное существо, соблазняется первым попавшимся мужчиной и через час после знакомства, задыхаясь, ложится под него.

Задача капитана Кокорина обязывала его часто скрыватьсь в кустах и там, среди этих неприличных на вид южных кустов, он вдоволь насмотрелся на торопливо задираемые подолы, ритмично работающие зады, наслушался слюнявых поцелуев и кокетливых стонов.

Как-то раз, гуляя за Клавдией Матвеевной по санаторию, он увидел в беседке за туалетом интимную парочку. Женщину он узнал: жена одного майора, с которым он как-то пошутил за ужином и теперь раскланивался. "Значит, завтра, в девять, Ласточка, тут же", — услышал и сразу все понял. Проходя через 7 минут мимо майорова домика, он увидел, как тот преспокойно играет в карты. Проиграл, значит, жену.

Капитану стало майора жалко. Капитан понял, что майору он должен помочь.

Кокорин никогда в жизни не писал доносов, разве что только в 52-м году, однажды... Анонимка -- отвратительно, но иначе он поступить не мог. Утром майор Соколов должен был найти письмо в столовой, под своей салфеткой и, как человек военный, принять самые решительные меры.

Но это было лишь отступлением от основного дела.

Дорогой мой Афанасий Иванович!

Прежде всего, здравствуй! Добрый день или вечер, в зависимости от того, что у вас сейчас в Самаре. Как ты знаешь, я всю жизнь прослужил интендантом и никогда не служил по части разведки. Доносов никогда не писал и не буду, и подлецом, шпионом также никогда не был. Я загорел. Была у меня и температура. Твоя супруга по-прежнему расцветает. Увивались тут за ней двое гражданских и по вечерам до дому провожали. Но, уверяю тебя, искренний друг, ничего между ними не было, так как ведет себя Ваша супруга честно, хорошо. Вчера такая икота взяла, что деться некуда стало.

С уважением, Ваш друг, к-н запаса

Кокорин А.В.

P.S. Перечитал тут и смешно как-то получилось насчет икоты. Повторяю, не писатель я, не сочинитель, ни писем, ни рапортов куда следует, ни доносов никогда не писал. Не армейское это дело.

Когда они приехали сюда, стояла чудесная погода. Галина Анатольевна всматривалась в привычное полузабытое: кипарисы, туи... вслушивалась: цикады, Крым! Много было с этим связано доброго и дорогого.

Мужа она не любила не то, чтобы давно, — она его не любила никогда. После прозябания по чужим людям, грязного малярничанья по стройкам, девичьих страхов, надежд, аборт, — выйти замуж казалось избавлением.

Тогда было начало лета, тополиный пух неслышно вальсировал в воздухе, и девушки в светлых длинных платьях гуляли по парку с выпускниками училища. В руках девушки несли букетики цветов. Молодые офицеры были красивы и веселы.

Потом прошли свадьбы. Мужья увозили своих жен по местам назначения.

В первый раз она изменила ему через год. Вышло случайно и как-то по необходимости — муж выпил, поехал провожать гостей, машина сломалась, а в это время оставшийся у них было спать капитан Жеребьев неожиданно проснулся и, слово за слово, завалил ее, не раздевая, на диван.

Потом было многое, но особенно запомнился Борис, девятью годами младше ее, умный, нежный, красивый мальчик. Он рас-

сказывал ей сказки, словно девочке, и читал стихи, которые сам сочинял. Он говорил, что глупо его, поэта-профессионала, запереть на три года, когда "стране и миру нужно живое, новое, крепкое слово". Он что-то напутал в жизни, погорячился, и ему пришлось оставить Литературный институт. Его записки Галина Анатольевна хранила до сих пор. Поэт писал:

Боготворяю я Твое дыханье
И сердца непрерывный звонкий стук.
Пусть властвует над нами расстояние,
Да здравствует пожатье слабых рук!

Любимая! Не мыслю я прощанье!
В любви нет больше места для разлук!
Желание пожатья слабых рук
Желаннее любого из желаний.

Идут года, а Ты живешь во мне.
И днем и ночью, утром и во сне,
Как жить, дышать, не устаем любить.

Пока душа и тело не устанет,
Я и в гробу продолжу говорить:
Все наше остается с нами!

Эти и многие другие его чудесные стихи она знала наизусть, и тем, кто любил ее потом, она читала их, как самое дорогое откровение...

Муж избивал его при ней. Голое бледно-розовое тело извивалось на ковре.

Потом пришло письмо:

"Ты святая, Ты должна уйти от *него!* Мы будем жить полной, чудесной жизнью, как дети, даже когда во всем мире простучит дождь. Пройдет время, и мы оба взойдем на вершину — я буду писать стихи, а Ты будешь моей женой!"

Она не ответила. Она понимала, что так дальше продолжаться не может и надо спасать семью. Потом муж сказал, что мальчищеска погиб на ученьях.

Теперь вспомнилось.

Она пришла из беседки усталой. Тело сладко ныло. Только что простучал дождь. В соседнем окошке, в мутном желтом свете были видны лица знакомых — Наденька, Любочка, два Васи. Она удивилась, почему муж не веселится вместе с ними...

Муж лежал на кровати одетый. Он храпел, значит, уже был пьян. В такие минуты Галя не презирала его, а напротив, жалела. В сущности, его никто никогда не любил, он, в общем-то, и не жил вовсе. Вот седые волоски на висках. А что он знает про жизнь?

Она укрыла его одеялом. Пусть спит.

Пусть спит! Все будет хорошо. Нельзя ненавидеть только за то, что не любишь. Нельзя ненавидеть за то, что тебя не любят. Нельзя запретить любить.

Завтра утром сегодняшнее станет воспоминанием. От Григория останутся письма, то есть, не останется ничего. На обратном пути заедут в деревню, там старики, Митька...

Муж завозился. Он почувствовал на себе одеяло и поднял голову.

Галочка положила ладонь на его горячий лоб.

— Спи, Ласточка...

— Ласточка?

Он был трезв.

Он вскочил с постели и пробежался по комнате. Спросил:

— Ну что? Болит спина-то?

— О чем ты? — пролепетала она, мгновенно все сообразив, и мысль ее заметалась в поисках выхода.

— Опять спуталась?!

— Я не понимаю тебя, Ла...

Он сделал шаг и ударил наотмашь по лицу.

— Мразь!

Она кинулась к дверям, но мужчина ловко подставил подножку. Мир перевернулся и прихлопнул ее. Она ударилась об пол и больше ничего не помнила.

— Мразь!

Майор пнул несколько раз по ребрам, под самые груди. Тело перевалилось на бок, и он увидел совсем белое лицо, перепачканное уже кровью.

Вид крови его взбесил. Он схватил со стола глиняный кувшин и размахнулся, ничего не видя, кроме жалкого белого лица, перепачканного кровью.

Чьи-то руки схватили сзади. Он вырвался, целя ногами в расprostертое тело...

Как-то все очутились на улице. Он видел освещенные окна и освещенные лица. Босые ноги почувствовали сырость.

— Назад! — заорал он, кинувшись сам куда-то.

Твердый и невероятно большой кулак сунулся ему в челюсть. Голова откинулась, и тут прямо в раскрытый глаз ударило твердое и острое. Темнота обратилась фотовспышкой. Другой ботинок прихлопнул его сзади, и майор потерял сознание.

Никогда он не узнает, кто его бил. Маловероятно, что сам любовник — низшие чины, молодые. В толпе он запомнил белое от страха лицо лейтенанта, с которым любил играть в карты.

Утром глаз дергался, шея ныла. Осознав себя и вчерашнее, он застонал сквозь зубы. Трибунал! В лучшем, отставка... Она-то жива?

Сначала он подумал, жива ли она, применительно к себе, к возможным последствиям, но внезапно вздрогнул: жива ли? жива?

— Эй, есть здесь кто?

Вошла сестра, пряча глаза, объяснила: ходит, повреждений и переломов нет. Легкий испуг.

— Пропустите к ней!

— Нельзя.

Он лежал, рассматривал безукоризненно белую обстановку санчасти и думал: почему же это? отчего так? Ведь отдал ей все! В мелких военных городках, где некуда было пойти, тусклыми вечерами сидел напротив и боялсядохнуть... Он вдруг понял: без нее — теперешней, лживой, нелюбящей — не проживет.

Когда ехали назад, он смотрел в окно, чтобы не видеть ее взгляд и свой кровоподтек в зеркале напротив. Жена молчала.

Проводник вошел в купе и, приласкав взглядом Галочкины ноги, поставил стаканы. Соседи принялись за чай, постанывая от удовольствия. По вагону прошел высокий молодой парень, тшкетно потрескивая колодой карт, спрашивая, не играют ли господа в преферанс.

На станции Херсон майор увидел столыпинский вагон. Конвоир, молодцеватый прапорщик, распечатывал свежую пачку "Беломора". У него были тонкие, как у белогвардейца, усы. В бледно освещенных окнах, перечеркнутые решетками, покачивались бритые головы. Эта картина промелькнула на секунду и исчезла в темноте.

Капитан Кокорин не был убийцей никогда.

— Ну, что говорят? Жива? — спрашивал он.

И-льсыый знающим голосом отвечал:

— Куда теперь жива! Он ее так разделал, что теперь нежилец она. А сам, говорят, застрелился.

— Да откуда же оружие у него? Не положено!

— Под матрацем прятал. Запасливый был. Давно, говорят, собирался это сделать.

Кокорин понял, что его разыгрывают.

— А почему же тогда, — спросил он язвительно, — он и ее не застрелил?

Лысыый посмотрел на него, как на ребенка, хотя был и возрастом моложе и званием ниже.

— Соображать надо. У него ведь один патрон был.

Кокорин плюнул и отошел. Придя в свой домик, сел за стол и записал: "Произошел у нас тут, Афанасий Иванович, прискорбный слу..."

Отложил бумагу. Зачем волновать доброго человека? Клавдия Матвеевна вела себя на редкость хорошо. Баба — зверь, сдоба домашняя, и никакого блуду! Вот одна доблудилась... Нехорошо, вроде, вышло. Вроде, как он, капитан запаса Кокорин, скандалу — причина...

Нет! Виноваты всегда они, жены! Если бы и не писал записочку, тот майор все равно бы узнал. И наказал. Отомстил майор всему женскому роду за грехи ихние. Вот и его бывшая жена...

Многое в своей жизни капитан Кокорин переиграл бы по-новому. И мысленно, признаться, сам не раз в тот неласковый вечер бил отчаянными розгами свою неверную. В тот самый неласковый вечер, когда Вера несколько раз с силой ударила его ладонями по щекам.

И майор прав. Женщина — она самое такое животное, которое с мозгами человеческими и потому опасное. И полковник Зуйков, с которым бок о бок который год, должен остерегаться своей. Змею согрел на груди, товарищ полковник!

Кокорин посмотрел в окно. На веранде соседнего домика была Клавдия Матвеевна. С мужчиной.

Он прыгнул в сандалии и выбежал. Задыхаясь, проскакал по дорожке и обличителем влетел на веранду.

Клавдия Матвеевна его не заметила. Она говорила громко и взволнованно. На полной шее проступил румянец. Она говорила тому мужчине:

— ... и, наконец, я очень прошу вас, оставьте меня! Я честная женщина, а не какая-нибудь из ваших б...

Капитан Кокорин поплелся обратно. За 24 дня привольного житья на юге эта "честная женщина" не проявила себя с истинной своей стороны... Ну что ж!

Дорогой Афанасий Иванович!

Этим сообщаю, что Ваша супруга, Клавдия Матвеевна Зуйкова, проживая на приморском побережье в известном Вам санатории "Парус" с 4 по 27 июня с. г. проявила себя сводней и блудит. Она — опасное существо. Свои изменные инстинкты она искусно скрывала, но я, Ваш искренний друг, заметил неоднократное проявление дурных наклонностей, которые особенно с мужчинами имеют место быть. Наконец, заявляю, что ни шпионом, ни подлым, ни соглядатаем никогда не был. Только желаю тебе добра. По разным причинам не подписуюсь.

Доброжелатец.

Есть такие вещи, которые происходят с тобой, а ты не в силах поверить в их правду, словно кто-то чужой, талантливый и власт-

ный, пишет твою жизнь безжалостным карандашом. Разве это было? Разве я не услышал все это в чем-то чужом разговоре — странную историю какой-то чужой женщины?

Проводник вошел в купе, поставил чай. Соседи стали с присвистом и оханьем пить. Ни Галина Анатольевна, ни муж ее к чаю не притронулись.

Она была спокойна, отгоняя мысли о случившемся, и думала о себе вообще — снова, будто о какой-то другой женщине.

У этой женщины лучшие годы позади. Это неправда. У нее просто никогда не было их. Так, жила, думала о чем-то, что будет, и это самое "будет" — не сбылось.

Что толку, если есть в жизни какие-то дорогие воспоминания? Их можно только оплакивать, словно умершего ребенка, ночью, под дождь, когда не слышит муж.

Дни кажутся длинными, только когда они впереди. Прошлое кажется одним большим днем.

Было ли это — конец пятидесятых, душное общежитие, девушки, каждая со своими надеждами? Где они теперь, ее единоутробные подруги?

Им под сорок. У каждой теперь своя жизнь. А тех, прежних, просто больше нет на свете.

Галине Анатольевне вдруг нестерпимо захотелось увидеть, как в кино или во сне, свое прошлое, где были следы ее счастья и ее любви.

Под ровный зуд хода скорого поезда она мысленно повторяла затверженное, как молитву:

Радость и горе мое,
Сердце мое и сомненье,
Слышу молчанье Твое,
Слушаю, как откровенье...

Кровью писать не хочу,
Есть еще в ручке чернила,
И не совсем по плечу
Мне отворенная жила...

Я умираю, любя,
Или люблю, умирая.
Ты не забудешь меня,
Вспомнишь от края до края...

Будто в мелькании лет
Будет мой голос храниться.
Я возвещаю обет:
Вспомнится все, повторится...

Горькая чаша любви!
Сердце стучит, напрягаясь.
Сердце отныне в крови,
Бьется оно, разрываясь...

Будешь Ты нюхать цветы,
Будешь любить, улыбаясь,
Буду и я, словно Ты,
Жить, неживым оставаясь...

Жизнь Твоя! Тот же цветок,
Срезан еще он в бутоне,
И распускается в срок,
Но не в земле, а в бидоне...

Стану осенней травой,
С речкой замерзшей сольюсь,
Птицей слечу голубой,
В ласточку я обращусь...

Ласточкой нашей мечты,
Бас презирая густой,
Как ворожила мне Ты,
Я полечу за Тобой...

Чистая дева моя!
Я не владею словами.
Только скажу Тебе я:
Наше останется с нами...

Это было самое последнее его стихотворение. Казалось, он чувствовал приближение смерти: оно было самое откровенное, жестокое и короткое. Она получила это письмо незадолго до роковых учений. Почему она не отвечала ему?

Я буду писать стихи, а Ты будешь моей женой...

Случись так, другой бы вышла ее жизнь? Быть может, сейчас, в этом же купе, так же молча сидел бы другой мужчина, и все остальное было тем же — страшная южная ночь с чужими голосами, убийственным стыдом и кровью...

Остывший чай покрылся пленкой. На какой-то станции Галочка увидела вагон с решетками на окнах. Вооруженный охранник распечатывал пачку папирос. У него были черные гусарские усы. Из бледно освещенных окон смотрели бритые головы. Свет в вагоне трепетал, словно крылья ночного мотылька. Это видение промелькнуло и погасло в темноте.

"Неужели есть на свете хотя бы один человек, который прожил так, чтобы не жалеть убожество своей жизни, тайно не тосковать по жизни другой?"

ВЗБЗД

1

Я ничего не знаю, ничего не могу понять, мысли перемешались в голове – словно пуля прошла от затылка до лба. Я никого не трогал, ничего особенного не хотел – я просто стоял в очереди и был сдавлен, словно сельдь в банке – а я ненавижу очереди, не могу стоять в очередях, меня просто поражает, что люди могут спокойно и как-то покорно стоять в очередях. А он стоял впереди – я чувствовал грудью его спину, бедрами его задницу – он был такой худой, с носом каким-то корнеплодным, и он сказал несколько слов (вроде подумал вслух) – фразу из нескольких слов вслух – и сказал, в общем-то, правильно – кто ж так не думает, но меня чуть не вырвало от того, что он сказал, и кто-то впереди тихо посоветовал больше так не говорить (как бы тоже подумал вслух), а рядом какая-то женщина, полная и в платке (таких миллионы, одинаковых – жопы в платках) сказала, что ему вообще не место в очереди, раз он так считает, и кто-то подхватил, что он втерся – этот корнеплодный – и я почувствовал, что сзади на меня напирает до тошноты упругая, полная крови женская грудь. Я бы еще ничего, но в этот миг он – тот, кто сказал – тихо так и вкрадчиво пукнул, а я не выношу этого – не выношу человеческого запаха, давки, жары. Я поднапрягся и – прочь из очереди выдавил его – как прыщ, как вишневую косточку из пальцев. Мне очень жаль, что так получилось, я вовсе не хотел ему зла – я, в общем, не плохой человек, не такой уж законченный подлец, как некоторые, – все мои друзья так считают, иначе у меня не было бы друзей, или же они сами не были бы хорошими людьми, но зачем пукать мне прямо в пах – мне, не выносящему человеческого тепла, запаха, тесноты?

2

Это был самый настоящий, отпетый, законченный негодяй, один из тех молодых негодяев, которыми изобилует новое наше поколение. С первого взгляда было ясно, что это подлец – длинный нос, похожий на корень турнепса, маленькие ехидные глазки – наверняка считает себя очень умным. Мы стояли в очереди тихо, спокойно, словно овечки. Он стоял с нами, вполне сначала как все – молча, а потом сказал такое, от чего мы все аж сморщились! Да за такие слова – честно я вам скажу – расстреливать надо на месте! Я – пожилой, заслуженный человек. Имею награды – как боевые, так и трудовые. Инвалид. Я всю жизнь простоял в очередях, но мне никогда не могло прийти в голову такое. Когда мы его вытолкнули, как вишневую косточку, он не успокоился, не отошел с достоинством в сторону, а стал снова втираться в наш коллектив. Он стал было проситься, но, увидев, что мы неумолимы, пытался

применить силу. Что я ему сделал? За что он меня толкнул? Я тихо и мирно стоял, размышляя о своем героическом прошлом – никого не трогал, ничего особенного не хотел, кроме того, за чем стоял в очереди.

3

Меня этот случай просто взбесил. Знаете, жизнь и так нервозна, а от подобных происшествий надолго остается неприятный осадок. Нервные клетки не восстанавливаются. Мне 42 года, я женат, имею сына. Мои друзья и сослуживцы считают, что я – вполне приличный человек, поскольку они все также вполне приличные люди. Я вовсе ничего не имею против этого молодого человека и, может быть, никогда бы с ним и не встретился. Мы стояли в очереди, а он влез. Я спокойно предложил ему удалиться. Он возразил и стал настаивать на том, чтобы я его пустил. Я в принципе ничего не имею против, поскольку очередь была архидлинной, и минута-другая не играла роли. Но ведь существуют нормы общественного поведения! Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Я пошел на принцип и мои соседи тоже, и ряды нашей очереди сомкнулись еще теснее. Тогда этот молодой человек процедил сквозь зубы одно слово и оно меня, конечно, весьма задело. Произнеся слово, он повернулся и хотел уйти, но я уже не мог этого так оставить. Я вышел из очереди, остановил его и потребовал объяснений. Он грубо повернулся и попытался удалиться. Я хотел задержать его, только задержать, чтобы потребовать извинений – он резко толкнул меня локтем в живот, а мне нельзя, у меня – язва, и я позвал милиционера. Только и всего. Я дал показания подоспевшему служителю порядка и вернулся в очередь.

4

Я служу на страже порядка уже год. Сам – из далекой деревни, отец мой давно спился, мать – доярка. В городе у меня никого нет, даже настоящей, хорошей девушки. Только и знаю – служба да общежитие. Получу квартиру или комнату, поступлю в институт, человеком стану. А пока всякое приходится видеть... Для меня этот случай был обычным. Парень хотел втереться в очередь, оскорблял достоинства личностей граждан. За это, конечно, положен штраф (статья 131, часть I, УК РСФСР). Но я в таких случаях разбираюсь на месте. Есть, конечно, и среди нас второсортные личности, которым выгоднее всего продвижение по службе, количество приводов, протоколов и так далее. Я же просто хотел отвести этого парня за угол и отпустить, но он стал извиваться, шипеть и смотрел с такой ненавистью – на представителя власти – будто готов был пристрелить меня на месте своими маленькими глазками. За что? Что я ему сделал? Почему если "мент", то сразу сволочь? Он же

совсем не знает меня, видел меня впервые, если бы не это происшествие, мы бы так никогда и не встретились. Может, мы бы подружились, если бы увиделись в другой обстановке, как-нибудь за кружкой пива... Посади свинью за стол – она и ноги на стол! Отвел в отделение и сдал дежурному – статья 192¹ УК РСФСР – оскорбление работника милиции в связи с исполнением им возложенных на него обязанностей по охране общественного порядка – штраф до 100 рублей. Когда вернулся на пост, очередь стояла спокойно, как перед вечерней дойкой.

5

Как говорят, дай негру палец – он всю руку откусит. Сказано было подождать, пока с блядью разберемся. А ему не сиделось на месте – все вставал, требовал прокурора, дурачок! А она была гарная, грудастая, с ней просто приятно было пообщаться... Жалко мне их всех, очень жалко ребятешек. Иной раз сидит перед тобой хороший парнишка – ну, напился, запутался, стукнул кого-то по рылу – так сиди, не высывайся, под дурачка играй, мамку поминай. Ты играешь, и я играю – это вроде придворного этикета. Выпишу тебе штраф вместо 206-й, и гуляй с миром! С кем не бывает?.. А ее – жалко. Паспорта нет, не здешняя – хошь не хошь, а спецприемник – бродяжничество. А там ребята приткие – трахать будут три раза в день. Красивая – губки бантиком, глазки как вишенки, колени пухленькие, не стесняется... Думает, видно, поиграем и отпустим – вон как попочку приподняла, приготовилась... Дурочка. Нам ведь тоже закон соблюдать надо... Встретить бы ее в выходной, на улице, по-другому бы поговорил. Она ведь, что на меня, что на того, с носом – все одно, как невеста в брачный вечер, глядит. А тот ерзал, грубил. Делов-то что выписать тридцатник и пустить с миром. Вдруг слышу – пернул. Громко так, с аппетитом. Ты что, говорю, при дамах... Пришлось посадить пока в холодную. Малый, видно, неопытный, первый раз попал, порядка не знает. Интеллигент, книги почитывает, поговорить бы с ним...

6

Я малый не дурак, мне палец в рот не клади – откушу. Сидел в холодной, в рукав покуривал. Когда его втолкнули, сразу понял, что это за ягода. На вы называет и все про свои дела. И не пьяный. А я сидел. И ждал. Хотел кому-то душу излить по-человечески, про свое рассказать, чинариком поделиться. Он и слушать не стал. Я против него ничего не имел – сам напорился. Я, вообще, людей люблю, зачем же со мной хамить? Ну, дал ему кусок секса, а он орать благим матом. Тут мусор возник. А он побелел весь, зашипел, и как на него кинется – и не по-серьезному, а так – царапался и щипался, как девица, когда ей не тот,

кто надо, под юбку залезет. Ну, мусор, понятно, в рыло ему сделал – он аж пукнул. Культурно сделал, без следов. Притих, плачет. Смотрю на него – жалкий какой-то, не жилец в этом прекрасном мире... Попался – так уж будь мужиком! Все мы человеки – смертные. Господь терпел и нам велел. Не таким рога обламывали. Я вот уже со вчерашнего сижу, и то не нервничаю. Я малый не простой – меня лейтенант знает.

7

Лейтенант с блядью разбирался, с пригожей такой, гарной дивчиной. Мягкая такая – губки что цветочки, глазки что ягодки, попка пухленькая. Ее б рачком – да на волю. Но – нельзя. Попадется еще, застучит – не расплатишься. А тут шум, ор из холодной – интеллигентик взбесился. Прежде вот народ бунтовал, а теперь интеллигенция. Ничего ему не сделал, только вошел. Видел-то его до этого издали, из дальнего угла. Люди порой бывают скотины неблагодарные! Я, может, ему и закурить бы дал, если бы попросил. Вошел, а он, бедненький, бросился на меня, царапается, кусается, как котенок. Ну, я ему в рыльце. Совершенно, так сказать, автоматически. Парень простой, новичок в наших делах. Таких-то вот особенно жалко... Запер, пошел, доложил лейтенанту. Подумали. Все как есть в протокол вписали, да еще добавили для верности кой-чего...

8

Дело это было простое, все на бумаге. Гражданин Х. в нетрезвом состоянии совершил антиобщественный поступок в магазине книжного торго, оказал сопротивление при задержании, избил соседа по камере и поднял руку на представителя власти. Это был молодой человек 25 полных лет, с высшим образованием, ранее не судимый. Однако, факты преступления налицо. Это говорит о том, что порочность была заложена в этом человеке и проявилась в определенных обстоятельствах. Общество должно бороться с подобными личностями, значительная часть которых – с виду вполне надежных молодых людей – разгуливает на свободе, и лишь обстоятельства не позволяют в полной мере развернуться их "талантам". Нельзя жить в обществе и наслаждаться мнимой свободой... Я мог смягчить приговор, имея ввиду положительную характеристику с места работы, но подсудимый повел себя некорректно: он шипел на меня, рычал, демонстративно выпускал дурной воздух, будто бы это я провинился перед ним. У меня гипертония и невроз. Я два года не был в отпуске. Моя жена ушла к другому после восемнадцати лет безукоризненных с моей стороны супружеских отношений. И кому какое дело до маленькой нервной клеточки в организме государства? Кто знает, что государство – не бездушная машина, а живое существо... Короче,

я приговорил его ни строго, ни мягко: в соответствии со статьей 206, часть 2 УК РСФСР – злостное хулиганство, умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, связанные с сопротивлением представителю власти – к одному году исправительных работ на спецпредприятиях, что в народе называют "химией".

9

Химия – это не так уж плохо, вроде как на воле. Та же общага, завод, только на вахте милиционер, и в город отпускают строго по режиму, как в армии. Так бы и в жизни учредить, больше порядку б было, а уж для нашего брата – нарушителя закона – химия просто мед. Все было хорошо, пока не привезли этого новичка. Койка его рядом, я к нему – знакомиться, он нос свой длинный воротит, фыркает, презрением поливает. За что? Решил с ним пошутить – не со зла, а как обычно с новичками шутят. Он с работы приходил и сразу (даже не умывался) на постель ничком валился, и так до вечера и лежал – бзднет – и снова лежит. Ну, я и подставил под кровать табуретку – сверху не видно. Пришел он, повалился, да как завопит. Вся казарма со смеху полегла, как подстреленные. Ты? – спрашивает. – Я, – смеюсь. Ничего не сказал, вышел, вернулся поздно, что-то под подушку спрятал. Я все гадал, гадал – что, да так и уснул на свою голову. А спрашивать стыдно было. Но это все цветочки – ягодки впереди... Просыпаюсь ночью, вижу – стоит надо мной, глаза в темноте желто блестят. Я и очухаться не успел – хрясь! – чем-то тяжелым тяпнул по башке. Я взвыл – что, мол, паскуда, делаешь? – одеялом закрылся, а он еще – хрясь! – тут я и потух. Только потом, в лазарете, узнал, что это он силикатным кирпичом (стройка недалеко была). Чуть не убил, зараза... Так больше и не виделись. Перевели его на зону, срок набавили, меня вот на волю выпускают. Зла на него не таю – три месяца покойно и чисто за него на койке пролежал, за кудака.

10

Зеки зовут меня Отцом, боятся – значиг, уважают. Я уже десятый год служу начальником зоны общего режима. Народ на ОРе стремный, подловатый. Строгачи гораздо степеннее – настоящие преступники, а не играют в преступников, как наши. А у меня что ни квартал – то ЧП. Перевели ко мне огольца одного, по кличке Пердун. Предупреждали: шальный. Осужден за драку, руку на мента поднял, на химии снова затеял драку, дебош, нанес тяжкие телесные повреждения – перешел в другую статью (188³ часть I УК РСФСР – злостное неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового учреждения). Присмотрелся к

нему. Длинный, как селедка, слабенький. Я вздохнул было свободно – одной заботой меньше. Нет! Стань, говорю, человеком, работай, уважай товарищей по несчастью, и так далее. А он слушает, смотрит своими мелкими глазками. Понял? – спрашиваю. Молчит. Смотрит. Отвечать, – говорю! А он – взял да и взбзднул, подло так, издевательски. Ты что, кричу, пердун, подлюга, тварь! – признаться, я сорвался. Часовой не успел – он схватил со стола пепельницу и шварк меня по лбу... На таком деле можно, конечно, очень ожечься. Очень. Но я понимаю: интеллигенция, нервы – простил ему и пепельницу, и взбзд его – десять суток кондея, работу похуже, стукачу наказал присматривать – зря! Через месяц он мне здорово оплатил за мое добро... Побег – дело серьезное, общелагерное. За побег меня по попке не погладят... За что? Что я ему сделал? Ничего обидного даже не сказал, только в порядке общей беседы. Черны и неблагодарны человеки. Видать, если он родился зверем, то никакая зона из него человека не сделает.

11

Раньше я его даже издали не видел, потом и по давню: зекы – сплошная серо-зеленая каша с мясными комками лиц – образно говоря... А в тот момент не успел его разглядеть. Можно сказать, мы с ним никогда не виделись. На стройке бардак – только и делали, что дыры затыкали. На одну дыру меня поставили. Я было решил перекурить, смотрю – идет что-то. Стой, говорю, а самого как проткнуло: вот оно. Стой, повторяю, стрелять буду, а сам внутри: убью – отпуск. А солдату внутри не полагается. Хочу стрелять – палец как онемел. Идет на меня, рычит зверем, и глаза горят желтым огнем. Похоже, что карабин сам выстрелил, как только зека увидел – пальца своего уже не помню. Смотрю – промазал! Он прыгнул на меня, с ног сшиб, карабин из рук как сам вылетел. Я закричал, а внутри: убьет! Он меня – прикладом. Больше ничего не помню. Очнулся – наши кругом, оружия нет... Каждый, понятно, хочет в отпуск. Лежишь, думаешь: он идет, ты стрельнул, не в голову – в ноги, тебе благодарность, отпуск. А как до дела дошло – оплошал. Не просто стрельнуть в живого. Лейтенант сказал, если натворит что с твоим оружием – тебе крышка. Тяжко мне. И кровь по моей вине может пролиться, и зека самого жалко. Мы в деревне с ребятами на охоту ходили, я утку подстрелил, плакал потом. Эх, как хорошо теперь в деревне. Отпуск бы...

12

Нас было двое – я и Буряк. Мы с Буряком ребята не простые – ого-го! – нас весь поселок знает. Залезли на крышу, сидим, балдеем. Вдруг слышим – пернул кто-то. Я поначалу думал, что Буряк, и

поджопник ему зазря дал – никогда себе этого не прощу. Сидим. Слышим: опять. Поползли. Смотрим через окошко: мужик на чердаке сидит, в руках – ружье настоящее. Буряк сразу догадался: это тот зек, говорит, которого портрет по телеку показывали. Меня из-за него три дня гулять не пускали, а сегодня бабушка в овощном в очереди застоялась – я и бежал через балкон. Вдруг слышим: голос снизу раздался: сдавайся добровольно! Выглянули – вся улица в милиции, солдаты с автоматами. Мы по крыше проползли, в голубятне спрятались. Буряк говорит: сейчас брать будут – не каждому случается такое увидеть. Зек на крышу вылез, побегал, думал на другой дом перепрыгнуть, но посмотрел – далеко. Остановился, нос кулаком утер. Вдруг – выстрел, потом еще, и – началось. Смотрю: на другом доме милиция появилась, у каждого огонек вспыхивает, крыша от пуль заскрежетала. Зек опять в чердак нырнул, и сразу стихло все. Гляжу – внизу его из дома выводят, руки заломили и в машину толкают. Мы все это время на настиле лежали, к доскам словно приклеенные. Я Бурю в бок толкаю, а он молчит. Смотрю: лежит, голову ладонями обхватил, меж пальцев кровь, в темечке дырка... Шальная пуля. Отец меня выдрал, ребята, конечно, зауважали. А Буряка жалко. Лучшим другом был. Ничего, я после школы в милицию пойду, на расстреле работать – отомщу за Буряка!

13

Я был нормальным ребенком, нормальным школьником, в армии нормально отслужил, а теперь моей работе только позавидовать можно. Работа моя тяжелая – в газетах про меня не пишут, в народе по-разному говорят, будто за меня автоматика работает – вроде как и нет меня. Что ж – нет так нет, я, может быть, и сам в свое бытие не верю... Вчера еще одного привели. Некрасивый такой, длинный, смотрит волком, нос как свекла. Я не знаю, за что его – нам не сообщают. Закон есть закон. Всю ночь, говорят, бился, стены зубами царапал. Когда выводили, волосы все были темно-вишневые от спекшейся крови, ногти обломаны. Кинулся на стенку, его скрутили, стал дрожать, как электрический, извиваться, укусил меня за щеку – до сих пор болит. За что? Что я ему сделал? Ведь не я судил, не я приговаривал, не я, в конце концов, преступление сработал. Связали его, прикрепили к столбу – кричит. Коротко так, со слезой кричит – а! а! – через каждые две секунды, как заведенный. Скомандовали. Я подошел, прицелился и выстрелил. Пуля прошла ровно – от затылка до лба. Затих. Я обошел сбоку и произвел контрольный выстрел. Пуля прошла от виска до виска. Доктор засвидетельствовал смерть. На свете появился еще один труп... Как подло он умирал! Не поверите: когда я делал контроль, он – уже мертвый – слабенько так пукнул. Подло умирают люди – все до единого. Все они в минуту смерти похожи друг на друга, подобно тому как все женщины одинаково

вы, когда разводят ноги. Бывает такой момент, когда он уже понял, что через несколько секунд будет убит, тогда-то и снимает он маску, и обнажается. Люди заразили меня своим жизнелюбием, и я благодарен им за то, что, умирая, они учили меня жить. Жалко, до омерзения жалко людей!

МРАМОРНЫЙ ДОГ

Помню то первое утро, когда понял, что ненавижу свою жену уже настолько, что желание уничтожить ее пересилило страх расплаты. Приподнявшись на локте, я пристально смотрел в ее спящие глаза, чуть приоткрытые, словно створки раковины. Под густой сетью ресниц глубоко блестели ее влажные глазные яблоки — я мог заглянуть в темную жуть морского дна, откуда сквозь толщу воды тянулись немигающие взгляды неподвижных рыб и едва дрожали от подводного ветра жирные волосы водорослей.

Я знал, что моя жена неверна мне, и я поставил себе целью уличить ее в этом, а после казнить каким-нибудь из древних способов кары за прелюбодеяние. Я просыпался по ночам, закуривал и, ощущая рядом пышущее жаром тело неудовлетворенной самки, представлял себе финальную сцену: мы едем на дачу, печь прогревает старый бревенчатый дом, я запираю дверь и ключ кладу в карман, и спокойно говорю ей, что сегодня она умрет страшной, позорной смертью блудницы. Я предоставляю ей доказательство, все оправдания бесполезны; она молит о пощаде, но я беспощаден; она раскаивается, просит прощения: она больше никогда не будет, бедная нашкодившая девочка... Тут я начинаю жалеть ее, я жалею ее до слез, я плачу, обнимаю ее и засыпаю, чтобы наутро снова ее ненавидеть.

Самое простое оказалось сложным: я не мог раздобыть доказательств ее измены; она делала это виртуозно, словно специально училась замечать следы в какой-нибудь особенной школе блудниц.

Я приходил домой внезапно, но почти никаких следов мне не удавалось обнаружить. Почти — это двусмысленные мелочи, вроде того, что как-то я заметил, что кровать стала более скрипучей, точно на ней она принимала какого-то слона, или же раздавался таинственный телефонный звонок, когда кто-то вешал трубку, услышав мой голос, — правда, подобное случалось и тогда, когда брала трубку она.

Я звонил из автомата напротив и говорил, что буду через час, а сам стоял в подъезде, наблюдая за собственной дверью; я подключался к телефону и сидя в туалете слушал ее разговоры с подругами. Я мечтал оборудовать нашу квартиру наблюдательной аппаратурой, но кто бы позволил мне это! Было бы замечательным там, на даче, показать ей полнометражный порнографический фильм с ее участием!

Я купил двадцатипятикратную подзорную трубу и наблюдал за своими окнами из подъезда дома напротив, но все было тщетно. Все эти действия были ошибочны, потому что жена догадалась, что я ее подозреваю, и теперь изменяла мне за пределами квартиры.

Вечерами один из нас должен был водить на прогулку нашего дымчатого пуделя, и я понял, что в парке, среди коллег-собачников, она нашла себе любовника, и я проследил за ее прогулкой. Я представлял себе молодого, прыткого собачника, который непременно хозяин сучки, также породы пудель, и в то время как наш дымчатый любимец удовлетворял свою страсть, его хозяйку тоже покрывали в ближайших кустах. Неделю я присматривал за нею, но предполагаемый соперник не появился, — то ли его не было в городе, то ли она еще не успела познакомиться и сблизиться с ним. Я стал сам выводить кобеля на прогулку, и когда жена полезла ко мне с благодарностями, намекнул ей, почему я это делаю, и она отстала, по-обычному обидевшись на меня.

Если бы моя жена не была домохозяйкой, мне было бы гораздо сложнее, потому что я знаю, как часто любовники встречаются по месту работы, вдали от пристального взгляда несчастных мужей.

Каждый час я звонил со службы домой и, услышав ее голос, вешал трубку, а если ее не было дома, я вечером спрашивал ее, куда она ходила, и странно — она почти ни разу не солгала. Опять же — почти.

Следовательно, она делала это быстро — по дороге в магазин, по дороге из парикмахерской, в гостях у подружек (о, как я ненавидел ее подружек, этих молчаливых соучастниц!), и я стал выслеживать ее, и однажды был пойман ею, и она сказала, что моя подозрительность может и вправду довести ее до греха.

Я ударил ее по щеке сразу, как мы вернулись домой, и в этот вечер она впервые высказалась о разводе, но я не мог допустить этого, потому что тогда она получила бы официальное право спать с другими мужчинами. Да и мог ли я расстаться с ней, единственной, к которой так привык, которую иногда так сильно жалел и любил, до боли, до слез...

Живой пример был у меня перед глазами.

Я тогда работал с одним профессором, уже изрядно пожившим, остроумным и, в общем, симпатичным человеком. Его жена была вдвое моложе его и вышла замуж по расчету — и как же она ошиблась в своем расчете!

Она производила впечатление скромной и верной женщины, возможно, и была такой на самом деле в первое время моего с ней "знакомства". В дом профессора был вхож один его аспирант, и нам было весело наблюдать, как он соблазняет молодую профессоршу.

Он был человеком шумным — громко топал по всем шести комнатам профессорской квартиры, громко разговаривал, заглу-

шал голоса собеседников. Его приемы были просты и безошибочны — он хорошо знал женщин. Во-первых, он тенденциозно шутил — в его анекдотах неизменно присутствовал треугольник рога носца; во-вторых, он намеренно не замечал профессорши, а делал вид, что влюблен в четырнадцатилетнюю дочку профессора; в-третьих, он всегда, как это делают сильные мужчины, шумно мочился в профессорский унитаз, — все эти меры должны были, несомненно, опутать профессоршу незримой сетью совращения.

Сам профессор, уже вступивший в последнюю пору своего цветения, переживал, так сказать, бабье лето; он был человеком тихим и страдал радикулитом, чем обеспечивал себе частые поражения на супружеском ложе. Он исполнял свои обязанности молча, кратко и, засыпая, не слышал, как его молодая самка мучится, чешется, даже пускает слезу. К тому же, он с ней сюсюкал, как с кошкой, а это ей не нравилось, хотя она и притворялась резвой, играя с ним в папу-дочку.

После двухмесячной артподготовки аспирант пустил в ход отборную пехоту: он, до сих пор даже не заговаривавший с профессоршей (кроме нескольких сухих фраз, когда она брала телефонную трубку), пришел как-то в отсутствие своего учителя, заломил профессорше руки и бросил ее на диван в гостиной. Женщина сопротивлялась настолько решительно, что трудно было заподозрить ее в притворстве; после недолгой борьбы, в ходе которой была разбита какая-то дорогая памятью ваза, насильник (а он был опытным насильником) понял, что овладеть женщиной ему не удастся — она лежала на животе, намертво вцепившись в обивку дивана, и ему не удалось даже необходимо обнажить ее.

Я давно заметил, что если женщина не хочет (то есть никак, даже в самой своей глубине не хочет), то овладеть ею практически невозможно: сила ее становится чудовищной, она пускает в ход зубы, когти — все, вплоть до сознательно неуправляемой спазмы.

Тут был именно такой случай, и насильник, не долго думая, удовлетворил свою страсть трением о ягодицы. Потом, когда он, расслабленный, громко и часто дышал, профессорша, разразившись истерикой, пригрозила ему, что теперь-то он полностью в ее руках (о, женщина!), что она скажет не только мужу, но и призовет правосудие, что аспирант не только лишится карьеры, но и угодит в тюрьму, и так далее. Аспирант дал ей воды и спокойно сказал, что напротив, это она давно уже в его руках, и в случае каких-либо эксцессов, он просто донесет на профессора и уже ничто их не спасет. Бедняга не знал, что делать это уже поздно и чистосердечным доносом он сможет "спасти" только себя.

Через день, в пятницу, аспирант пришел к профессору и, по-прежнему не замечая его жены, целый вечер общался с ним и его друзьями, которых, кстати, тоже не "спасло" бы раскаянье, а, выждав

неделю, он опять пришел днем, и опять, на том же диване в гостиной, уже с большим успехом изнасиловал профессоршу. Уходя, он строго заметил, что женщина была холодна и в следующий раз (при этом она вскричала: о, боже!) он попросил бы ее быть внимательнее.

Он стал приходиться часто, и каждый раз повторял все ту же программу, и с каждым разом женщина отдавалась все легче; он уже перестал грозить ей, а брал, как законный любовник – и в семье профессора появился новый член.

Видя все это, я еще пристальнее присмотрелся к собственной "профессорше". Моя жена стала бегать по утрам трусцой, чтобы поправить здоровье, и я наконец с отвратительным злорадством понял: я увидел, как она выбегает из дому, как пересекает улицу и заходит в дом напротив; ключ лежит под половиком, мужчина сперва недоволен, что его разбудило холодное тело, но опомнившись, обнимает и сонно целует ее; она тоже обнимает его руками и ногами и – поехали! Картина передвижения "По утренней эрекции". Мне ничего не оставалось, кроме как тоже заняться бегом...

Я всегда просыпался раньше нее и разглядывал ее спокойное лицо, не изуродованное ни косметикой, ни дневным напряжением человеческого общения. Под тонкой восковой кожицей век металась в быстром сне ее зрачки. Даже если она и не изменяла мне физически, если и не было этого третьего персонажа, аспиранта, – она могла делать это бессознательно, в мыслях или во сне. Я осторожно приподымал ее веко и всматривался в глубину глазного дна – пространство ее сновидений было переполнено диковинными цветами и птицами, словно картина Босха, кошмары торопливо сменяли друг друга – четвероногие чудовища с чело-вечьими головами и бурлящие водотоки, падающие перила и тлеющие уголья отражались в ее зрачках. Даже во сне она умудрялась лгать!

Я раздобыл две путевки в санаторий, этот вертеп раз-врата. Она не хотела ехать одна, но я настоял, и мы распрощались. По второй путевке поехал мой друг, лейтенант Е., холостой смышленный парень, который воспринял мое поручение как репетицию настоящего дела, которое ему еще не доверялось по молодости. Он опутал мою жену тончайшей сетью, он знал каждый ее шаг и через день докладывал мне по служебному телефону. Она вернулась загорелой и веселой и сразу бросилась мне на шею. Она и там, в искусственно созданных для нее условиях, не изменила мне (ее рассказ совпал с показаниями лейтенанта Е.) и я целый месяц верил ей и любил ее без малейшей примеси ненависти, и лишь потом меня внезапно осенило, что она все же самым наглым образом изменяла мне, и партнером ее был не кто иной, как сам лейтенант Е., – иначе почему же так точно совпадали показания обоих? Я понял, что нельзя впутывать в мое дело посторонних. Судьба хранила меня: я не казнил Е., а лишь удалил его: как нерадивый работник лейтенант Е. был переведен на периферию.

Все чаще между нами разыгрывались, как говорила моя жена, сцены ревности, хотя, понятно, мне было не до театра.

Например, раз вечером она возвращается от подруги, и я замечаю, что ее коленки ободраны — левая посильнее, правая чуть-чуть. Естественно, что подобный факт не мог ускользнуть от моего внимания.

— Что это с тобой, моя бедненькая? — спрашиваю как можно ласковее, словно у непоседливой школьницы.

— Упала, — спокойно лжет она.

— Что ж, — говорю, — понятно.

Она начинает нервничать:

— Что тебе понятно?

— Почему бы не упасть, — говорю хитро, — сразу на обе коленки. Очень тебе сочувствую.

Молчит. После паузы интересуюсь:

— Что — там камни были?

— Где?

— Ну, там где упала?

Она смотрит на меня почти с ненавистью, потому что грешна.

— Знаешь, — говорит, — мне надоели твои подозрения.

Тут я удивляюсь:

— Какие подозрения?

Она молчит.

— Ну это же смешно, милая. Разве я могу не верить фактам, — говорю я, указывая на ее коленку, которую она сразу отдергивает. — Если бы ты и хотела скрыть от меня, что упала, у тебя бы все равно ничего не вышло, ведь садины не скоро заживут...

Она запирается в ванной и включает воду, однако через несколько минут врывается в спальню — сухая — и громко шепчет, склонившись надо мной, уже лежащим в постели:

— Я прошу тебя об одном: оставь раз и навсегда твои подозрения, не мучь меня твоими разговорами, потому что ты извел меня, измотал мои нервы... я прошу тебя, отпусти меня (это она о разводе), дай мне пожить спокойно, ведь ты убиваешь меня... (и так далее).

— А что я такого сказал? — возмущаюсь я.

— О-о! — запрокидывает она голову.

— Если ты, — кричу я, наконец, потеряв терпение, — находишь в моих словах какой-то второй смысл, то значит, ты виновата, и у тебя есть, что скрывать!

Она падает на кровать, заливаясь слезами, я вижу ее узкую содрогающуюся спину, и мне становится невыносимо жалко свою жену; я привлекаю ее к себе, целую, лепечу извинения, и мне самому хочется плакать.

Внезапно я чувствую приступ желания; я понимаю, что оно неуместно в этот момент, но все же начинаю возбуждать ее движениями пальцев; мы отдаемся друг другу с еще непросохшими слезами, и в эти минуты я чувствую, как подо мной проходят все женщины, которых я когда-либо знал, и даже те, с которыми мне не пришлось сблизиться, включая профессоршу: сама того не подозревая, моя неверная жена устраивает мне встречу с ними в моем воображении...

Тем временем в треугольнике профессора произошли новые изменения.

Весна, холод мужа и пыл любовника сделали свое дело. Профессорша привыкла к своему двусмысленному положению и отдавалась аспиранту с радостной готовностью.

Едва он входил, она влекла его в свою спальню и, на ходу помогая ему раздеться, быстро раздевалась сама. Не сдерживая похотливого визга, они бросались в постель, и женщину пьянило открывшееся ей разнообразие поз. Это был прямо-таки культ позы, видимо, не без знания индийских чудачеств. Их случка походила на гастроли гимнастов, чего, понятно, не мог себе позволить пожилой, стеснительный и страдающий радикулитом профессор.

Они любили всяческие географические эскизы: например, они начинали в кухне, выпив кофе, потом она вдруг вырывалась и, сбрасывая по пути одежду, дезабилье пряталась в какой-нибудь комнате, где он быстро находил ее, уже принявшую выжидательную позу. Они залезали в ванную и трахались под душем, брызгаясь, как дети в лягушатнике. Они выползали на четвереньках на балкон и трахались, высунув головы из-за парапета, так, что с улицы казалось, будто они вышли покурить. Он усаживал ее на работающий телевизор под речь какого-нибудь политического деятеля или танцевальную программу. Она звонила соседке, требуя немедленно прийти, и пока та недоуменно скреблась у входа, он трахал ее, прижав ягодицами к двери изнутри. Даже во время так называемых профессорских "пятниц" аспирант, извинившись, выходил к своей любовнице; она ждала его и сразу, молча улыбаясь, опускалась перед ним на колени, и он вцеплялся зубами в рукав, чтобы сдерживать стоны, а через несколько минут он возвращался в гостиную под шум спущенной этой искусной конспираторшей воды.

И так далее. Как и читая роман, ставишь себя на место самого несчастного, самого обиженного автором героя, так и в этой истории я ставил себя на место профессора, этого жалкого, обманутого всеми человека – и женой, и "соратником", и даже дочерью.

Профессору за его "общественной работой" было недосуг, и аспирант занимался с его дочерью, готовил ее к школьным экзаменам, то есть, входя в ее комнату и плотно закрыв дверь, усаживал покорную девочку к себе на колени и, зажмурив глаза от наслаждения, с тихим стоном зякулировал в ее равнодушное тело.

Бедный, бедный, беззащитный профессор!

Я разработал план операции, который должен был сыграть наверняка. Субъектом я выбрал майора Б. — мужчину, перед которым не могла устоять ни одна самка в мире. В закордонных командировках майор Б. совращал даже самых дорогих, самых привередливых гетер.

Моя жена с каким-то мерзким любопытством говорила о нем, и я пригласил его к нам в субботу, на рюмку-другую коньяку. Проблема была в том, чтобы она ему понравилась — майор Б., как всякий ебунец, был разборчив в женщинах, а моя жена была уже не первой свежести — она похудела, и по утрам под глазами вздувались темные мешки. Доктор говорил: нервное истощение, но отправить ее на курорт я, понятное дело, теперь уже не мог.

Я сводил майора Б. в ресторан (словно девицу) и в разговоре упомянул следующее: во-первых, пожаловался, что моя жена неверна мне; во-вторых, намекнул на ее якобы невероятные постельные достоинства; в-третьих, рассказал, что она спрашивала о нем, о Б.

Все это поначалу имело самые благоприятные последствия — Б. два раза на неделе позвонил мне.

В субботу он ворвался к нам с букетом роз и бутылкой пресловутого коньяка. Он блистал, как начищенный плафон.

Метод обольщения у Б. был до безобразия прост: сидя за столом и хмелея, он все грубее нахваливал себя, намекая на свои победы на служебном и половом фронтах.

В разгаре вечера я встал, нацепил пуделю поводок и пошел прогуляться. Под кровавую стоял работающий магнитофон. Мы с Д. заняли позицию в подъезде напротив, и я прильнул к волшебному стеклу.

Моя жена и Б. сидели за столом и пили чай. Они очень долго пили этот чай, и я решил не возвращаться домой, пока не произойдет ЧП. Преимущественно спокойный, Д. тонко повизгивал, повиливая хвостом, как бы чуя мертвечину. Наконец, Б. встал и подошел к моей жене. Мы замерли. Он обнял ее сзади, сидящую, и я внезапно почувствовал, как напряглась моя собственная грудь; его рука проследовала ниже, и я вдруг полностью подчинился галлюцинации осязания; меня охватила сладостная дрожь, я бросился на пол, расквасив колени, грузное тело мужчины навалилось сзади, и, раздирая ткани, с болью вошел в меня напряженный фаллос... Моя жена быстро встала и залепила Б. здоровенную оплеуху, которая вместе с его пьяным вздором весьма чисто записалась на пленку. Майор Б. поклонился и вышел.

Моя жена солгала мне. Она скрыла, что Б. к ней приставал, а когда я, дрожа от злости, включил магнитофон, с ней случилась очередная истерика, и опять на меня напал приступ отвратительной жалости к моей несчастной жене, а скорее — к самому себе.

Бедный, бедный, доверчивый я!
В середине лета пришла развязка.

Аспирант и профессорша обнаглели до невероятности. Она звонила мужу на кафедру и отдавалась любовнику с телефонной трубкой в руке. Он трахал ее через носовой платок профессора, как через презерватив. Он стонал с мучительным надрывом, тонко, словно ему было больно. Он передевался в ее белье, а она, нацепив пиджак и шляпу профессора, вставляла в себя полукольцо колбасы и трахала его в анус, после чего мыла колбасу, сушила и скармливала профессору за завтраком. Она отрывала его сперму и мазала себе лицо и шею. Он засовывал в нее бутылку вина и сосал из горлышка, пока его не начинало тошнить. Однажды он привел свою собаку, молодого мраморного дога, и она, свободной рукой цепко схватив любовника за член, отдалась догу на его глазах...

Я позвонил профессору и анонимно сообщил о некоторых проделках его жены. Профессор помчался домой, но любовники, как бы чувствуя, успели смотаться – на лодочную станцию: любимым и единственным развлечением вне дома было катание на водных велосипедах; они заплывали на острова, и там, в безлюдье, он трахал ее, стоя по грудь в воде.

Профессор перенервничал, и жестокий приступ радикулита свалил его в постель. Он не мог встать и тихо стонал в одиночестве, пока жена не вернулась с блядок.

Я знаю, что такое радикулит: с каждым новым приступом он все глубже вонзается в позвоночник, сводит с ума; все мучительнее эта боль, по сравнению с которой любые пытки могут показаться булавочными уколами.

С трудом переводя дух, профессор сказал жене, что отныне закроет двери своего дома для ее любовника, и она взбесилась при этих словах. Она рыдала, глотала валерьянку, рвала на себе волосы (свои хорошие, ухоженные волосы) – все это с видом оскорбленной невинности, совсем как моя жена в подобных случаях... Им обоим было не занимать актерского мастерства.

Снедаемая бешеной злобой, она бросилась к мужу и стала "поправлять" его постель, теревить и поворачивать его, и профессор не мог даже вскрикнуть, теряя сознание от невыносимой боли.

– Все будет хорошо, все будет замечательно, ты поправишься, мы будем жить по-прежнему,.. – приговаривала она, умышленно продолжая причинять мужу смертельную боль.

Я подумал, что она собирается умертвить профессора (что вполне возможно при его слабом сердце), зачеркнув тем самым нашу многомесячную работу. Такого рода преступниками владеет демон безнаказности, он шепчет: все будет нормально, замечательно, это надо сделать единственный раз в жизни, никто не узнает об этом... – убийца

свободен, словно во сне, но вот демон, насмеявшись, покидает его, и он пробуждается, и тогда уже нет ему спасения, нет пощады...

Нарушив все правила, мы с капитаном К. прервали эту чудовищную пытку, отдающую даже в мой собственный позвоночник; мы примчались под видом врача и санитары "скорой помощи", и я вколол профессору промедол.

Боль отпустила измученное тело, и он, почти уснувший, с благодарностью глядел на меня.

— Не будет ли уход за вами обременителен для вашей супруги, — спросил я, — или же вызвать ей в помощь сиделку?

— Нет-нет, — поспешно ответил профессор, не глядя в сторону жены, — она сама очень хорошая и добрая сиделка...

Последние несколько слов он проговорил уже из глубины сна. Я переглянулся с капитаном К. взглядом, отдав ему распоряжение осмотреть кабинет, а сам попросил профессоршу пройти на два слова, уводя ее в самую дальнюю комнату. Я был в первый (и, увы, не в последний) раз в этой квартире, но знал ее не хуже собственной.

— Большое спасибо, — сказала профессорша, сдерживая волнение, — но тут какая-то ошибка: я не вызывала "скорую"...

— В том-то и суть помощи, — ответил я, рассматривая ее, — что она приходит вовремя. Не здоровому есть нужда во враче, но больному.

Она насторожилась, и с этого момента наш разговор приобрел второй смысл.

— Что мне делать, доктор, — сказала она. — Он и шелохнуться не может.

— Прежде всего, больному нужен покой, — медленно проговорил я. — Переворачивать его надо бережно, чутко прислушиваясь к его сигналам, в то время как сам он будет прислушиваться к сигналам собственной боли. Противопоказано резко сгибать его в пояснице, также трясти и выворачивать руки — (она вся сжалась под моим взглядом) — Далее. Больному нельзя волноваться, как вы сами понимаете. Например, если он узнает (я сладко улыбнулся), что его супруга была неосторожна с водным велосипедом и промочила ноги... Он рассердится и прогонит свою сиделку. Ведь вы так нежно ухаживали за ним, в то время как его легкомысленная жена прогуливалась в парке с мраморным догом.

Она смотрела на меня с ужасом: не веря своим ушам. Я встал, подошел к двери и плотно прикрыл ее.

— Надеюсь, — сказал я, — в порядке общей диспансеризации вы позволите мне вас осмотреть?

— Ах, вот кто вы такой! — прошептала она и, мучительно морщась, расстегнула блузку, освободив свои жалко болтающиеся груди с крупными сосками, и медленно, с перекошенным от омерзения лицом,

понягилась к диванчику, опрокинулась навзничь и, разведя ноги, ухватила себя за пятки – на, возьми!

Я огложил в сторону стетоскоп и молча взял то, что мне предлагалось.

Через день, весьма кстати, пришел приказ о ликвидации профессора, и мы быстро разработали план операции.

Поздним утром, когда большая часть жильцов была на работе, мы с капитаном К. снова навестили профессора. Натирая спиртом его бледную руку с ясно обозначенными жилками, я с сожалением поглядел ему в глаза и извинился.

– Помилуйте, доктор, за что?

– Не волнуйтесь, – сказал я, – сейчас вы уснете.

Шприц проколол его тонкую кожу. Мне было очень тяжело.

В дальней комнате уже ждала профессорша. Мы вошли оба и, закрывая за нами дверь, она с прелестной светлой сухостью осведомилась:

– Ну, господа лекари, теперь будете вдвоем осматривать?

– Нет, – ответил я, – теперь мы будем лечить.

Я зажал ей рот, а К. надел ее бьющееся тело на шприц.

Уходя, я чувствовал себя как бы отмищенным, а после, когда вся эта история уже была в прошлом, размышляя о своих собственных делах, я вдруг сделал открытие – такое простое, что сам был поражен – как это раньше не пришло мне в голову. Я понял, как и с кем моя жена изменяла мне. Ей вовсе не надо было уезжать на курорт, бегать по утрам и так далее. Она могла делать это, не выходя из квартиры, и даже тогда, когда я сам был дома (например, мылся в ванной).

Моя жена грахалась с дымчатым пуделем Д., как покойная профессорша с мраморным догом.

О женщины! Сколько мрачного я вижу за их юными улыбками, сколько чудовищного живет в человеке вообще, а в женщине – особенно...

В обычный час я повел Д. на прогулку. В парке я нашел укромное место и привязал пуделя к дереву. Я достал из кармана моток бельевой веревки и кусок мыла, намазал, мыло зашвырнул в кусты. Животное смотрело на меня удивленными и порочными глазами.

Он почувствовал приближение казни, но, видимо, до конца не мог поверить в смерть, как и любой приговоренный. Я накинул ему петлю и слегка затянул (он повизгивал, нерешительно повиливая хвостом), я перекинул конец веревки через сук, тоже смазанный мылом: затем, пристально глядя ему в глаза, потянул веревку и сам повис на ней. Он отчаянно заскулил и как-то зашипел, и тут его острый алый член на ладонь выскочил из брюшины и, уже умерев, мой соперник смачно эякулировал на траву. Я отпустил веревку, и тушка шлепнулась наземь.

Я отрезал его ухо и так, зажав его в кулаке, принес домой и бросил на стол перед женой, сказав, что я убил ее любовника (как в романе), после чего повернулся и ушел.

— Возьми ключ! — крикнула она мне вдогонку.

— Ты уйдешь? — поинтересовался я.

— Нет, — сказала она, — я буду дома. Но ты возьми ключ. Я пожал плечами и вышел.

Весь вечер я ходил по улицам, делая бессмысленные круги, спускался в переходы, я не мог остановиться ни на минуту. Никогда прежде я так не хотел ее смерти.

Я хотел ее смерти, и в то же время боялся ее; я думал, что если она умрет, то это будет связано с моим желанием, и тут мне пришло в голову, что я всю жизнь не прошу себе этого, я, так отчаянно желающий ее смерти. В то же время я понимал ясно, что все доказательства ее измены косвенны, что мне пока не удалось по-настоящему разоблачить ее, и кто знает, сколько еще предстоит мучиться, пока я не брошу перед ней неопровержимый факт, вещественный, как омерзительное собачье ухо.

Тем временем моя жена наполнила ванну горячей водой, разделась, залезла и, оглядев критически свое тело, безопасным лезвием вспоролла вены на руках и ногах — четыре черные, как дым, струи повалили из дыр.

Когда я пришел, она уже окаменела, и взгляд ее был полон оскорбленной невинности, и это было правдой, потому что теперь она уже больше никогда не изменит мне.

Зачем ушла она от меня? Зачем оставила она мне эту жалость, пожирающую меня жалость... Вот уже много лет прошло, и я прожил жизнь без женщины, никого больше не любя, и жалость съела мою душу, съела мои волосы, обесцветила глаза мои, и скоро — скоро сойду я в яму, туда, где ждут меня, соединенные смертью, моя жена и ее любовник — дымчатый пудель Д.

Андрей КОКОВ

ПЛАВАНИЕ

1

Речка времени. У перевоза
толпа народа. Запах навоза,
фенола и прочих излишеств быта.
На той стороне, где баба с корытом
готовится выплеснуть на фиг младенца,
комиссия сморкающихся в полотенце
принимает хлеб-соль на объекте.
Объект вырабатывает обедки.
Останки как основной продукт
обусловлены должным качеством рук.
Головы, стоящие во главе,
имеют особый фарш в голове.
Поручик грудится в зале суда,
вводя туда, выводя сюда.
Госпремия вручена группе лиц,
внедривших многократный одноразовый шприц.
Кооператив "Вымогатель" предлагает услуги.
За поворотом народные слуги
распускают новый коварный слух,
что нам и впредь не обойтись без слуг.

2

На весла дружно налегая,
продвинем воду вдоль бортов.
Музыка бодрая играет
знакомый марш "Всегда готов!"
Неспешно моют трактористы
в реке железного коня.
Лениво проплывает пристань,
верандой летнею маня.
Чего желать? По банке пива,
да по сосиске бы в кругу;
подъехать к девочкам красивым
и порезвиться на лугу.
На берегах сгребают сено.
Пасутся гучные стада.
О, загорелые сирены!
Куда бежите вы, куда?

3

Помянем нас, на кой-то ляд рожденных,
и мучиться рассудком обреченных.
Ах, суета — гордиться телом бранным,
поелику оно для удобрений...
И здания, и лозунги ветшают.
Танцор неважный — все ему мешает.
Он трудности мечтает одолеть,
но прежде успевает околеть.
А нам опять расхлебывать, и яд
погубит нас, и нас же обвинят.

4

Вот голова. На ней растут волосы,
топырясь на затылке хаотично.
Вотще, поручик! Пробили часы.
Отныне ваш приятель эластичный
поник главой и тупо смотрит вниз.
Увы, таков удел для бранных, сырых.
Что толку прозябать? Десяток виз
оформить бы без трудностей ОВИРов,
да на корабль, да плыть, и пиво пить,
обследовать неведомые земли,
и, мудрости предшественников внемля,
построить дом и древо посадить.

ФАНТАЗИЯ РЕ-МИНОР

Восход. Разит октябрьский дождь.
Ни выстрела, ни отголоска.
Волнами пробегает дрожь
по темным рекам вологодским.

Там чудеса: там бюрократ
рисует план великой домны.
Корейских воинов отряд
штурмует твердь облисполкома.

Там пенистый, как "Бадузан",
канал "Севзапводпереброски"
мозолит белые глаза
потомкам чуди заволочской.

По рыжим мокнувшим лесам
тоскует зверь, томимый рвотой.
Там белозерский партизан
бредет по вспоротым болотам.

Там мужики возле колонн
на грязном пепелище ТЮЗа
по капле льют одеколон
в свои распухнувшие пуза...

Похоже, кто-то там, вдали,
определил судьбу земли.

* * *

Ночь в Вологде. Завеса дыма
и вкус пожизненной тоски.
Гул поездов, бегущих мимо.
Любовь до гробовой доски
и впрямь ведет до двери морга,
где между почерневших тел,
холодную покинув корку,
душа оплатит свой удел.

Покуда же, за водкой стоя, —
или по карточкам паек,
развитие времен застоя, —
короче, каждый наш денек
наполнен делом грубо, зримо,
и, в кухнях грея скудный чай,
обнимемся, и запах дыма
сопутствует нам, как печаль.

Страна печали, крест заботы.
Во тьме бредем, не зная троп.
Ни Воскресенья, ни Субботы.
Землетрясения и потоп
сопутствуют в пути. И странно
нам узнавать в пустыне сей
и откровенья Иоанна,
и что пророчил Моисей.

* * *

Какая-то арабская судьба –
скитаться из оазиса в оазис.
Искать? – о, нет: спасаемся! Борьба
разрушит в прах любой базальт и базис.

Течет песок, как время – в никуда.
Песок – лишь прах, оставшийся от камня.
Бредем в песках, томимы жаждой давней.
Бедна нас окружившая среда –
бедна водою чистой и любовью.

Кладите меня, братцы, вот сюда,
и камень привалите к изголовью.
Не надо начертаний – мол, поэт
такой-то, там-то, столько-то, тогда-то:
читать навряд ли станут этот бред
святые скарабей-меценаты.

Два-три араба, сморщенных, седых,
походный чай поодаль разогреют,
прочтут Коран. И снова постареют.
Средь нас уже не будет молодых.

Один в пустыне. Холодает ночью.
Горсть фиников сухих гремит в кармане.
Как древний куст иссохшими корнями,
губами пью прохладу мертвой почвы.

*

*

*

Михаил ПЕКЛО

БАНАНЫ И ПЕЛЬМЕНИ

Банан о Вандерблате

Вандерблат проснулся от странного ощущения: было похоже, что кто-то медленно перепиливает ему руку. Вандерблат открыл глаза. Так и есть! На руке сидел огромный шершель и двигал своими зазубренными челюстями. Стряхнув назойливое насекомое, Вандерблат увидел в окне небритого мужика в трухе и с обрезом. Мужик высморкался и вытер пальцы о стену. "Вот и утро пришло", – подумал Вандерблат и начал вывинчиваться из гнезда. Он немного не рассчитал и со стуком упал на пол. После этого Вандерблат достал свой несессуар и занялся утренним туалетом. В несессуаре лежало три вещи: хлопущка для выбивания пыли из ушей, машинка для ковыряния в носу и гаечный ключ. "Вот здорово", – подумал Вандерблат и стал прихорашиваться, перышки чистить. Какая-то мысль не давала ему покоя. "Чего-то не хватает, – подумал Вандерблат, – чего-то явно не хватает". Он взял гаечный ключ и отвернул пробку у себя на голове. Потом Вандерблат достал с полки красивый флакон с жидкими мозгами и влил эти мозги внутрь. Теперь он снова был в форме. Все нормальные люди так делают.

После этого Вандерблат заглянул в большую черную банку. "Ай-ай-ай, – сказал Вандерблат, – зюкль кончился. Как же это, а? Ай-ай-ай", – и все сочувственно закивали головами. "Какой конфуз! Зюкль кончился. Как же это, а? Как же я без зюкля? Совсем нельзя без зюкля! Ай-ай-ай!" Все снова сочувственно закивали головами, хотя это начинало порядком надоедать. Зюкля, однако, никто не дал.

Зюкль был очень важной субстанцией, потому что: а) из него можно было катать хорошие шарики; б) зюкль иногда намазывали на хлеб; в) часто зюкль наливали в большую кастрюлю и просто чавкали. Все это было чертовски приятно. "Ну и хрен с ним, – сказал Вандерблат, – живут же люди без зюкля!"

В это время на улице раздался свист. Это Либерман идет. По дороге идет Либерман. Либерманы всегда были заклятыми врагами Вандерблатов. Каждое утро Либерман проходил под окнами Вандерблата и свистел, паразит этаким! Вандерблат посуровел и тотчас выхватил откуда-то из-под мышки огромный плеватель. Зарядив его хорошим плевком, Вандерблат прицелился и нажал на курок. Какая меткость! Плевком угодил прямо в ухо Мендельсону. В этом не было ничего страшного, потому как Мендельсоны были тоже древними врагами Вандерблатов. Мендельсон упал головой прямо в бочку с солеными огурцами, и его тут же оседлал веселый трубочист, который принялся начищать Мендель-

сону ягодицы своей страшной щеткой. (Вы уже догадались, что Вандерблат был заодно с веселым трубочистом).

Все весело засмеялись и начали рассказывать анекдоты про Либермана и Мендельсона, а когда очередь дошла до меня, я не смог вспомнить ни одного анекдота и стыдливо покраснел. Все промолчали, но посмотрели на меня с большим подозрением. Вандерблат тем временем катал шарики из какой-то дряни, ибо зюкля у него не было.

Так все мы очень славно провели время, пока не пришел вечер – толстый мужик в кожанке и с топором – и не разогнал нас всех к чертовой матери. А Вандерблат снова стал завинчиваться в гнездо. Засыпая, он подумал: "До чего же хороший сегодня был день". Ну и дурак же этот Вандерблат, право слово!

Банан об Альберте

...Жил на свете человек, которого звали Альберт. Естественно, он был музыкантом. В шкафу у него стояла гитара, вся в черной коже, будто женщина-вамп из порнографического кино. Так что, когда Альберт начинал расстегивать ее молнии, он приходил в такое возбуждение, что терял сознание, а придя в себя, резал пальцы о струны, и кровь капала на его белые штаны.

И вот Альберт решил постирать свои белые штаны. Когда он решил это, он как раз стоял перед зеркалом, и тут зазвонил телефон.

"Алло... Нет, – сказал Альберт. – Почему, почему... Штаны стирать буду..." – и положил трубку. Тут снова зазвонил телефон. "Нет, не могу, – сказал Альберт. – Видишь ли, сейчас я буду стирать штаны". Телефон зазвонил опять. "А иди-ка ты на..." – ответил Альберт, отключил телефон и подошел к зеркалу.

На него смотрел человек небесной красоты.

"Я ли это?" – с ужасом подумал Альберт.

...Штаны были совсем как живые, ткань текла между пальцами и исчезала в тумане стирального порошка. Сквозь запахи ванной Альберт почувствовал неведомый аромат и понял, что это приближается самадхи. Через час медитативного транса Альберт ощутил виртуальную сущность мира: с одной стороны, мир был, а с другой стороны его как бы и не было, как будто смотришь на солнце сквозь пальцы, двигая рукой: есть – нет, есть – нет.

Выйдя из транса, Альберт понял, что его штаны тем временем протухли. Но протухли они виртуально: с одной стороны, они протухли, и в то же время – не протухли. Есть – нет, есть – нет...

Пораженный Альберт стоял над ванной, а годы шли. И тогда он вспомнил еще один случай. Как-то ему приснился сон, что если

он разобьет новую гитару о стену, то непременно испытает просветление. Альберт долго копил деньги. И вот, чудным летним утром он взял новую гитару за гриф, размахнулся, и замысел его пришел в движение. Время замедлилось, и он увидел гитару, медленно плывущую навстречу гибели. Тут-то и произошло просветление.

"Ага!" — закричал Альберт и подумал, что уже нет необходимости ломать хороший инструмент. Нечестивая мысль вновь всколыхнула кармические потоки. Альберт услышал скрежет сломанной гитары, и просветление окончилось.

...Альберт достал из ванны свои штаны, почему-то совсем свежие и сухие. Самадхи было, но просветления не было. "Как же так?" — подумал Альберт и посмотрел в окно. Там летали утки, жирные, как мучные черви. Тогда он вышел на улицу, где стояли люди с наждачными лицами и хотели купить пива. Человек с гармошкой подошел к Альберту и запел:

"Ленинградская резина из кармана тяница... На хрена такое счастье по балде достаница?!"

"Надо же, — подумал Альберт, — простой человек из народа, а тоже поэт".

Тогда человек подошел к нему, посмотрел разбойничьим взглядом и страшно закричал:

"Ну что, Матрена, мать твоя ядрена, насолим огурцов, будем делать молодцов?!"

В это время большая птица с глазами печальной женщины нагадила Альберту на плечо.

Но он был неспособен распознать просветление, явившееся в столь странном облике.

Банан о вальсе

На улице праздник: с лотка торгуют вареной морковью. Всюду вальс. Провода репродукторов оборваны, но вальс, как снег, забивает глаза и уши. Вальс — это не музыка, природа его субстанции неизвестна. Снег тоже идет — пополам с вальсом — но вальс не тает. Что же мы будем делать весной?

Я слышал странные рассказы о Мастере Вальса, и это похоже на начало новой религии, хотя сущность ее так же непонятна, как и вальс.

В конце концов, религия обязана быть трансцендентной. Люди стали много говорить на улицах, но больше сами с собой. Когда говорил он, его слушали, не понимая ни слова. Надо же кого-то слушать? По крайней мере, непонятное не есть ложь.

Он говорил, что Будда, Христос и Бог вообще — всего лишь форма, привычка одного из миров, и скоро наступит другое. А что

же будет, спрашивали люди. А будет вальс, отвечал Мастер, но вальс — это тоже форма, всего лишь знак для людей, чтобы они могли знать, что это пришло.

Очевидцы говорят, что потом было очень много света, и человек исчез, и появился вальс. Было бы странно, если бы столь малый комочек плоти смог образовать такое количество субстанции, заполнившей мир.

Действительно, когда оно касается кожи, можно сразу узнать вальс. Прежде всего, размер: раз, два, три; раз, два, три. Есть еще что-то вроде музыки, цвета и запаха, но невозможно сказать, слышите ли вы вальс, видите или обоняете? Это все сразу, и поэтому многие сходили с ума, правда, ненадолго. Потом они привыкли и гуляют со своими сумками как ни в чем не бывало. Так что, если бы некоторые люди не стали исчезать, к вальсу бы привыкли, как к новым ценам.

Самое же странное, что есть люди, которые говорят, что вальс был всегда, правда, меньше, и удивляются, что другие этого не видели.

Есть также люди, уверяющие, что вальс — всего лишь повальное сумасшествие, и они, люди нормальные, ничего такого не чувствуют. Среди них встречаются видные ученые, политики и адвокаты, но почему-то ни одного музыканта.

Город наш стал похож на Вавилон. Повсюду застыли заснеженные трупы трамваев. Наверное, и в других местах то же самое, но мне это совершенно не интересно: я слушаю, как вальс касается моей кожи вместе со снегом. Раз, два, три; раз, два, три. Скоро весна, и я хочу слушать вальс весной.

Пельмень о семейной жизни

По улице шел один очень рассеянный человек. В руках у него вместо тросточки был большой-большой топор. Он этим топором размахивал, размахивал, и нечаянно отрубил голову какому-то мальчику, который шел со своей мамой. Человек страшно растерялся и стал извиняться. А мама говорила:

"Ничего, ничего, у меня еще есть!"

Потом они познакомились и поженились. Жили они хорошо, вот только она очень страдала от его рассеянности. Иногда он принимал ее за гладильную доску и хорошенько припекал утюгом. А иногда — за мясорубку, и это было еще хуже: он совал ей в рот сырое мясо и начинал выкручивать руку. А она выплевывала сырое мясо и говорила:

"Ты меня не любишь!"

Он приходил в себя и начинал извиняться. Такая уж у него была дурацкая привычка: все время извиняться. Ей это надоело, и они развелись в конце концов.

Мораль:

Семейная жизнь — штука очень сложная.

Пельмень о Родине

Жил-был один простой человек. Жил-жил, не знал никакой беды. И вот как-то раз он проснулся ночью и стал думать: что-то не так!

Работа — хорошая. Жена, дети — просто золото. Здоровье — прекрасное. Друзей — навалом. И все равно — что-то не так! Разве в себе разберешься?

Человек закрыл глаза и увидел лес. Березы, трава зеленая и заросший пруд. Птица медленно машет крыльями и садится на воду. И облака плывут над лесом и бесконечными полями. И человек подумал:

"А люблю ли я Родину? Работу люблю. Жену, детей люблю. Друзей — и тех люблю. А вот Родину... Нету там для нее места!"
Не любит человек Родину. Вот так и лежит до утра, мучается:

"Как же это, а? Родину не люблю!"

А под утро человек не выдержал, достал пистолет и застрелился. И правильно сделал.

Мораль:

Вот как в жизни бывает: никчемный человек, а вдруг возьмет да и сделает что-нибудь хорошее.

* * *

Вячеслав КУРИЦЫН

ПОЭТОВО СЧАСТЬЕ

*Синоптикам белых стыдливых ночей
посвящается этот рассказ*

Молодой и безусловно талантливый поэт Шура Жыров, проживающий в Свердловске, чья первая книга "Надъярус" появилась на прилавках полтора месяца назад, просыпался каждое утро с одной мыслью: "Боже милостивый, когда же все это кончится?!"

Все это начиналось, в общем, мирно: первую неделю Шура принимал поздравления, захаживал на предмет дарения "Надъяруса" ко вполне солидным людям, что по плечу похлопают, в дальнейшем пособить пообещают да коньячок распечатают, а то и не распечатают, а лишь из графинчика плеснут... нормальная неделя, костюмчик – троечка, рубаха белая, галстук... вон он, галстук теперь – повязан зачем-то на люстру и с кровати хорошо виден.

На второй неделе степенность вместе с троечкой отошла, праздники начались веселые, демократичные, ну, не без издержек – рубаху эту белую, в частности, спалили в одной компании под образами, кричали: "Рубаха поэта! Каково! Роман Львович, загасите скатерть, мы этого не любим..." – не без издержек, но все был свой, литературный люд, люд искренний, непосредственный, камней за пазухой не таящий... без пошлости, что особо приятно, без грязи.

На третьей неделе литературные круги сменились музыкальными, да театральными, да живописными, что было много хуже: нравы иные – девки ухитрились втиснуться в губу между двумя затяжками, а мужик в коже, какой-то рокер, хватал Жырова за грудки, волочил в подъезд, стучал головой о стену и говорил сурово: "Я, Шурик, этот твой текст отныне пою, ты понял?", и показывал большой музыкальный кулак, да и люди все сплошь незнакомые, за редким исключением, только на неизменном Пете Чайковском можно глаз остановить: залез на стол и вещает нечто хорошо поставленным баритоном, Петя всех знает, Петя, кажется, сюда и привел – спасибо тебе, Петя, что ты меня сюда привел, спасибо, что не привел ты эту ораву сразу ко мне домой...

Но и такое случалось – Петя барабанит ногой и вваливается в сопровождении разномастных мужиков и баб: "А прежде чем выпить, друзья, мы прослушаем этюд, который Ися сочинил намеренно... Ишенька, эту-юд! Ах, Жыров, – знакомьтесь, ребята, это Шура Жыров – у тебя же нет рояля...", да и Исю забыли в троллейбусе, а девки, странные, ей-богу, одна непременно остается ночевать, не спросясь совершенно, и называет тебя зачем-то Робертом, и поди вспоминай потом утром, кто такая и по какому поводу.

Потом счет неделям пропал. Чайковский исчез. Театралы сменялись инженерами, живописцы — хоккеистами класса "Ц", снявшими зал в "Святом дышле" в честь товарищеского поражения от ЦСКА, были загадочные возвращения к прежним кругам — к одному, в частности, солидному товарищу, который на первой неделе брезгливо накапывал Жырову пол-рюмки "Камю", сказав, что сам ни-ни и другим ни-ни, а тут нарезался с Шурой "Агдамом", плохо пел "Казанову" и все повторял: "Ты племяшку-то мою, Елавку, тискал? Хороша ведь племяшка! Как не тискал? Ну уж, не тискал..." — никогдашеньки Шура его племяшки не видывал... исчезли, наконец, у Шуры магнитофон и два рубля мелочью из кармана тросов, чему удивился он безмерно: "Надо же! ишь ты, два рубля! вот ведь!"

Короче, надо было сворачивать праздник, и несколько раз пытался Шура праздник свернуть, но слишком много людей знало теперь его адрес, да и похмелье — не тетка, а один Шура пить не привык, он же начинающий еще только поэт: тут нарисовался снова Петя Чайковский, позвонил и заорал: "Шура! Ты где пропадаешь? Я был в Таллине, тебя нигде нет! Жди меня! Я не один, правда, но они упьются, а мы с тобой посидим, потолкуем..." — и сразу пришел очень не один, и в эту ночь остались, почему-то, сразу две девки, слаженно менялись и называли Шуру Робертом.

Утром, однако, Жыров проснулся в одиночестве, углядел галстук на люстре, вспомнил девок и даже покраснел, так стыдно стало, но — поэт есть поэт — дотянулся до бумаги и записал явившийся ночью образ — "половая близорукость". И сказал себе, что все, новая жизнь, пора чистить конюшни, и посмотрел по сторонам, тоскливо, как Блок.

И рывкнул телефон. Услыхав женский голос, Шура хотел бросить трубку, но остановила его изрядно подзабытая ненадрывность интонации:

— Здравствуйте, Жыров. Вы дома, отлично. Меня зовут Анной, сейчас я к вам зайду.

— Не-ет! — закричал Жыров, но молчание в трубке стало столь удивленным, что поэт смутился... — Простите, но у меня очень... грязно, я как раз собираюсь все тут прибрать...

— Приберем, — сказал голос и исчез.

Шутки Жыров не понял, обиделся и встал. Постонал, добрел до холодной воды. "Бабу, — сказал себе Жыров, — не пушу!" Но дверь открыл.

Вошла. Спортивный стиль, фигурка, все при всем. Лицо ее, по давней привычке к охоте за деталью, Жыров попытался заметить, уточнить, угадал намек на готику в абрисе щек и форме носа; брови врасхлест, взлетающие к середине лба, переводили намек в реальность...

Тут расплозся перед Жыровым воздух, все поплыло, и Шура со звуком отвалился к косяку. Крепенько все же вчера... Чайковский... гнус...

– Тяжко? – откровенно язвительно спросила она.

Жыров помычал.

– Ну-ну, – сказала, извлекла из сумки бутылку пива ("Исетское" – отметил Шура, поди на Бардина брала, там сейчас часто, надо бы Петьке звякнуть, да Жорке Пристебышу, он там рядом, пусть занимает), сама нашла на кухне открывашку, отворила бутылку и протянула поэту. Поэт махом влил в себя половину, охнул на табурет, закурил и мелкими глотками продолжил... Явно полегчало. Нет, явно... Пришла спокойная, пива дала... Иисусе, а если там полная сумка пива и бр-р – чего еще, а потом она признается, что без ума от моих стихов. Особенно от "села муха – дай понюхать", и целоваться полезет, и уж назовет, непременно, Робертом... Девушка хмыкнула его мыслям, Жырову вновь стало стыдно, а гостя прошла в комнату, оглядела ее и произнесла задумчивое "да-а..."

Растерянный Жыров плелся следом.

– Спасибо вам огромное... (навязалась, черт). Извините... Это вы звонили, да? Я подзабыл – вас Капитолиной зовут?

– Сами вы Капитолина, – бесстрастно ответила девушка, продолжая неторопливо глазеть, – а меня Анной зовут.

Жыров выругал себя за Капитолину – откуда, главное? В жизни не знал Капитолин... впрочем, в жизни не знал, а в последний месяц, может, и знал...

– На галстук, на люстре? Поэт... – сказала Анна, причем слово "поэт" произнесла она не разжимая почти губ и настолько презрительно, что Жыров забеспокоился, засуетился, залепетал, что вовсе не это имелось в виду, полез на стул, откуда, в общем-то, и упал. Поэт сидел на полу, а Анна смотрела на него с еле проступающей улыбкой.

– Еще бы бутылочку, – жалобно сказал поэт, существо неземное.

– Одну, – кивнула Анна, вышла и воротилась с бутылочкой, опустилась в кресло и стала очень внимательно глядеть, как Жыров выливает в себя пиво.

– Все, – сказала Анна. – Сегодня вы больше не пьете.

– А чего я сегодня делаю? – поинтересовался оживший Жыров, не без некоторой уже игривости в голосе.

Анна поморщилась на игривость и напомнила:

– Мы договорились, кажется, – будем наводить порядок.

– Что значит "будем"? – прищурился Жыров.

– Поэт, вам не знакома эта форма? Множественное число, второе лицо – я и вы будем...

– Анечка, – перебил Шура, – как вы думаете, могу поз-

волить я, чтобы красивая девушка... в этой пыли... – Шура картинно развел руками, нет, дескать, слов... девушка... в пыли...

– Вас и спрашивать никто не станет, – в голосе гостьи Жыров-поэт, натура тонкая – почувствовал злость. – И я вам не Анечка... Ну-ка, встать!

– Су... – Жыров встал, руки по швам, голову набок: – Слушаю вас, Анна. По отчеству, извините...?

– Перестаньте паясничать. Я иду на кухню, а вы... – Анна еще раз осмотрела комнату, – те вещи хотя бы, что не по местам, положите на места. И отвяжите, наконец, галстук.

И ушла на кухню. И Жыров присвистнул, ничего себе Анна... Подошел к зеркалу, подмигнул отражению. Ладно, посмотрим... Вещи... Который уже раз в нашем рассказе кто-нибудь обводит взглядом комнату, только теперь человек это делает весело и решительно: начинается что-то интересное, очень, как кажется человеку, которое, может быть, и выход из идиотского обмывания "Надъяруса". Вещи, значит. Галстук – в шкаф, это – в стирку, это – в нее же, два стеклоблока... забавно... вместо магнитофона оставили, что ли?... Журналы, газеты – в одно место, хоть сюда, на подоконник, убрать с подоконника джинсы, с телевизора кастрюлю.

– Грязную посуду, – голос из кухни, – сюда!

Что еще есть из грязной посуды? Бутылки – это грязная посуда? Снова джинсы, вроде бы прибирал... Ой, это вчерашней девки джинсы... Не дай бог, саму ее найду... Пепельницу бы не надо переворачивать... Что за бумажка? "Половая близорукость"... Ладно... А стеклоблоки можно не выкидывать, как память о первой книге – решено... Кто ж такая? Точно, никогда я ее не видел... Такие брови... но как она сказала "поэт", как в грязь втоптала... Линия губ – чудо... да что ж ей надо от меня? Спросить неудобно. Как это я с Капиталиной-то, позор... Гм. Все, во всяком разе, пока мне – и пиво, и...

– Докладаю! Вещи по местам, мусор в мусоре, посуда... Прикажете подметать?

– Галстук отвязан? – в тон осведомилась Анна.

– Так точно, отвязан и препровожден.

– Вот эту гору – в мусор. Нет, сразу на улицу...

У Анны дело продвигалось стремительно, как-то одно-временно полоскалась посуда, стиралась пыль, чистился пол и проступала уж по углам чистота. Жыров лихо сграбастал мусор и понесся к помойке. Положительно, необычный день.

– Мусор вынесен, – доложил Жыров.

– Молодец, поэт, – не оборачиваясь, похвалила Анна. – Теперь в магазин.

– Прикажете в винный?

На этот раз Анна обернулась.

– Я сказала, кажется, что винный отменяется.

– Виноват. В какой?

– В продовольственный. У вас же нечего есть, Жыров. Чем мы собираемся обедать? Хотя бы картошки, что ли, принесите... -- Анна снова поморщилась, чего, дескать, этот может, кроме картошки... -- и к картошке чего-нибудь.

– Колбасы, например? -- спросил догадливый Жыров.

– Bravo, Жыров! Колбасы, пиши поэтов!

Шура ринулся вниз, а когда вернулся, набив сумку колбасой и не колбасой, на кухне все лоснилось и блистало, и предметы, у каких своих мест отроду не было, оказались вдруг на своих местах.

– Поэт, вы готовить умеете?

Ах, даже если и не умел бы он готовить! А сегодня он с таким вдохновением готовил, что радовался не меньше, чем когда получается стих. Анна за это время разделалась или почти разделалась с комнатой, и обедали они в чистой или почти чистой квартире*. Жыров немного пораскланивался: я вам, Анна, по гроб обязан, но она ответила, что не по гроб, что просто не может обедать в грязи... такой характер, ничего не поделаешь...

Кофе пошли пить в комнату, Анна попросила пластиночку поставить, послушали и как-то очень хорошо в этом смысле поговорили... даже дух захватило у Жырова (поэт!) и он, выключив проигрыватель и возвращаясь в кресло, положил руку Анне на плечо. Она выдержала четкую паузу – такую как раз, что успел понять Шура: руку не стряхивают, но и не поощряют, и сказала:

– Не надо, поэт. Неужели вы не понимаете, что это -- не то. Это совсем не то. К тому же и я сюда пришла совсем не за этим...

– Да? Так за чем же вы пришли?

Анна усмехнулась, и зазвонил телефон – надежнейшее и удобнейшее из средств сюжетных подвижек – что бы мы делали без телефонов? Анна остановила Шурина руку и сказала: "Я сама".

– Да. Его нет. Нет, не будет. Он уехал. Надолго. Нет, не ваше. Дело, говорю, не ваше. Всего доброго.

– Анна, – неуверенно сказал Жыров, – но это могли звонить по делу... – а про себя подумал: какого же черта, зачем меня нет, если "это – не то, совсем не то"?

– Почитайте стихи, Жыров, – попросила Анна, а впрочем потребовала. – Только которые я не знаю.

– Почем же я знаю, чего ты... чего вы, пардон, не знаете?

– Вы начинайте, – усмехнулась Анна. – Я переблю.

* Видно, как автор завидует Шуре в смысле Анны, в смысле: кто бы пришел и прибрался?

Он начал, она перебила – да, да, там у вас в четвертой строфе неправильная форма от "трангрессировать", Шура удивился, спросил – как надо? вот как?! Да... Ну, Анна... Он разозлился и взчитал.

Он читал, она слушала, очень молча – ни слова не произнесла и, главное, лицом совершенно ничего не выразила: ни одобрения, ни неодобрения, ни усталости... вот не безразличное даже лицо, безразличие – состояние, а то ведь совсем ни фига... Жыров злился-злился, а потом вдруг понял, что это в кайф, когда тебя слушают с таким вот лицом, хотя неясно – чего в кайф-то? и он остановился. Пауза длилась не больше паузы между двумя стихами, но Анна поняла, что Шура именно остановился, улыбнулась и сказала:

– Вот и все. Завтра с утра мне на работу, так что...

– А может?

– Нет, не может.

Что возражать бесполезно, это Шура просек уже и потому спросил, встретятся ли они еще, позволит ли Анна...

– Конечно. Завтра после работы я у вас. – И добавила, глянув в широко мигающие пиитовы глаза: – Коридор-то мы с вами не тронули...

И Анна протянула ему руку – чтобы подняться с кресла помог...

– Я вас провожу.

– Ну, зачем это, поэт? Я лягу на кровать, а вы на пол. И не смей подглядывать – ничего у меня нет.

Поэт, ничего не соображаячи, отправился стелить постель. Ничего не соображаячи же долго не мог уснуть – он постелил себе прямо под люстрой и, открывая глаза, видел ее ужасающе мерное покачивание...

Он подошел к кровати. Во сне лицо Анны растаяло, улыбалось теплой, совсем не олимпийской улыбкой, кончики бровей чуть спустились, поубавив, таким образом, четкости и строгости, и... Анна вдруг сказала, сонно и пластилиново:

– Саша, не мешай. Мне рано вставать, и я устала.

Когда Жыров очнулся, постель была, разумеется, тщательно прибрана. Проснулся он – чувствуете, читатель, – от телефонного – поэтову жизнь? – звонка.

– Шурка, здорово! – орал Петя Чайковский. – Возьми трубку.

Шура взял.

– Здравствуй, Петя. Извини, не могу.

– Да я же, – расхохотался Петя, – ничего не предлагаю!

Мы, собственно, ничего и не затеваем... То есть затеваем, конечно, но денька через три, а сейчас отдыхаем, туда-сюда, стадия подготовки материала. Алло, Шура, ты слышишь? Такие дела. Я теперь, между прочим, и

не Петя вовсе, и не Чайковский. Ну-у, друг, такие дела. Расскажу при встрече. Короче, заходи, – и Петя горлопливо пропал.

Так: Петя – не Петя. Ну, это мелочи, каким был раздолбаем, таким и... А Анна – кто? "Трангрессировать..." Жыров глянул на часы – половина второго. Не так долго и ждать. Жыров вскочил, съел что-то и бросился чистить коридор, ванную и т. д. В смысле сюрприза Анне. Потом гремел на кухне кастрюлями, потом опомнился – сбегал за цветами, потом догремел, упал в кресло и стал ждать, и страшно кружилась, и хорошо поэта Жырова голова.

Пришла Анна в шесть.

– Поэт, я дико извиняюсь. Вы знаете (снова на вы!), очень важное дело – подруга просила помочь... Ну-ну, не дуйтесь, Жыров, дайте мне ключ. Марину Гордиенко знаете? – вот она и просила. Может быть, я приду. Ждите до двенадцати. И слышите, Жыров, не пейте, не вздумайте пить!..

И Анна исчезла. "Ключ взяла", – рассеянно подумал Жыров. Естественно, что не находил он себе, что называется, места, и выпить хотел, а пуще хотел – когда магазины закрылись, и чуть не набрал петенькиного номера, но опомнился – Анна сказала... Так и не находил он себе места в двенадцать, прослушал куранты – двенадцать гвоздиков в висок – так не находил он себе места в час ночи, и в два, а в три заснул – просто обрушился на пол, на матрас, еле успев скинуть сапоги... и не слышал, как пришла Анна. Она хмыкнула чистоте коридора, умылась, разделась и легла к Шуре... как он понял, распахнул глаза, и обнял ее, и поцеловал, тогда оттолкнула она его, почти грубо оттолкнула: "Са-ша, ты разве не понял еще – это не то, это совершенно не то", – скакнула на кровать и через минуту крепко спала.

Теперь зато не спал Жыров. Он был взбешен, он прошел на кухню, саданул кулаком по косяку, не то, чтобы над ним никогда не издевались, но так не издевались над ним никогда. Он ломал спички, прижимался лбом к стеклу, а внутри ухало и охало, и тяжело ходило вниз-вверх, словно поршень четырехтактного двигателя... Он подтащил табурет к кровати и долго-долго всматривался сквозь ночь в аннино лицо и находил снова, что во сне на нем куда больше чувств, нежели наяву, и покачивался от ветра фонарь за окном, и бежали по лицу тени, и пока лицо оставалось в тени, его выражение успевало измениться... и в голове Жырова мельтешили, лезли друг на друга слова... а ярче других: желто-красное "дель арте" и фосфорно-синее бабушкино "волшебный фонарь"... Он и задремал на табурете, а очнулся от большого, отнюдь не ласкового щелчка по носу – ногтем, да с оттяжкой – Анна стояла перед ним при полном параде и говорила:

– Я ушла, поэт, на работу, а вы непременно будьте дома – я может быть, позвоню.

И позвонила, сразу после другого звонка, и Жыров то-ропливо стал рассказывать ей содержание того, предыдущего: де, приглашают завтра зачем-то в Союз писателей, Фомин приглашает, зачем — не говорит, но зря приглашать не станет, на что Анна сказала "ну-ну" и добавила, чтобы он никуда не девался сегодня, а ждал, пока она, Анна, не придет.

Появилась она вовремя (это Шура так для себя отметил). Накормил ее Жыров, они снова расположились в креслах с кофе, и Анна очень остроумно рассказала, как сегодня у них в лаборатории выяснилось, что начальник их, Тенгиз Иванович, списал, оказывается, свою монографию с какой-то голландской монографии и теперь если не суд, то сами понимаете, фарс-то международен... И Жыров рассказывал что-то веселое, и она, и снова он — эпизодик из своих походов последних недель... смеялись, в общем, а когда большая стрелка на часах переползла через "восемь", Анна, будто специально ждала, сказала:

— Жыров, а сегодня, пожалуйста — шампанского.

Ну, этим Шуру не проведешь, он с деланной невозмутимостью встал, извинился, и смотался на такси к Петеньке Чайковскому... или как его теперь? У Пети сидели седобородые старцы и пели непонятное, а Петя пел с ними и указал, не отрываясь, на холодильник, а когда Жыров выудил оттуда две бутылки и стал показывать — можно ли две? Петя (или не Петя) раздраженно махнул рукой: не мешай... На том же такси Жыров вернулся, так что Анна не успела даже дослушать пластинку... Она сделала лишь маленький глоток, сама Жырова обняла и сказала "Саша..."

Короче, случилось. Жыров никогда не обольщался относительно своих способностей в этой области — да, умеренные, — а тут еще разухабистые недели, когда от тебя, в общем, много не требуют, поскольку сами пьяны... Анна же потребовала — был Жыров этой ночью ведомым и, между нами, учеником, но мог он быть способным учеником, и даже сам себе, ей-богу, понравился. Стоит заметить, что слова Анны о том, что у нее "ничего нет", сказанные двумя днями раньше и призванные аргументировать отсутствие необходимости подглядывать, оказались, мягко говоря, неправдой.

...Анна помнила, что в десять часов Жырову надо быть в Союзе, поэтому, только пришла на работу, так сразу и позвонила — разбудить. Он разбудился, охнул — рядом нет Анны; схватил трубку — там она, слава богу, была.

— Доброе утро, поэт! Вы не забыли, что у вас в десять часов встреча? Надеюсь, все будет хорошо.

— Аня! Ты придешь сегодня?

— Нет, Жыров, увы, сегодня я не приду...

— А когда?

– А все, поэт, я больше не приду. Стоп-стоп-стоп, не перебивайте, одна просьба... Станете жить – не забывайте, что я была.

...А еще она оставила записку. Жыров развернул и прочел:

"Роберт! Теперь можно признаться – вы угадали тогда мое имя. Да, мое подлинное имя – Капитолина. Вы знаете, угадать мог только настоящий поэт". И подпись: "Анна".

Приложение к рассказу
"Поэтовое счастье"

Александр Жыров

Я, засыпая (то есть не засыпая), считываю
Из другой комнаты, с твоей (нашей) машинки печатной (пишущей)
Текст о том, что сегодня ты любишь (хочешь)
другого (мужчину).

Так что завтра в припадке правдивости
излишне об этом кричать.

Сохрани (схорони) это в тайне. Как бы в тайне.

Как бы я и не подо-

зреваю.

То что я прозреваю – это мания каждой недели.

Или месяца, ладно, забудем о том через месяц,

и ты мне

Снова дашь эту руку (свою), если не надоели...

То есть кто надоел? Рыбий жир, Арлекин, заваруха

В том продолженно слева углу,

устремившемся в печень.

Нам Кальпиди донес:

на поэтов бывает проруха.

На поэтов – ох – много бывает,

могила излечит.

Здесь портвейна на вечер (на утро) осталось, пора бы

признаться,

Что портвейн покупался у Т., по известному благу.

В чем тот бласт состоял? Эту рифму, Кальпиди, пропустим,

Будем думать, что так, что сестра теплокровная – брату,

Перейдем через двор, где в углу, где как раз орхидея

(То ли дерево, то ли цветок, то ли взгляд с эстакады),

Здесь полсотни шнурков проводили счастливое детство –

Сорок пять стукачей, ты

и четверо аристократов.

Я сюда забредал – выпить пива на узкой скамейке
С другом или с подругой – не помню – но это неважно.
Я не думал тогда, что подарит мне видеоплеер
Та, которой я – было – на тачку отстегивал башли.

* * *

Марине Гордиенко

В процессе охлаждения стакана
Является потребность в понимании
Со стороны людей и обстоятельств.
Людей – любимых. Обстоятельств – разных.

Вот мы идем дрожать на перекресток,
Где дождь нам днесь. На черном – желтый крестик.
Уже блестит под каплями предместье,
Где женщина, как яшма в янтаре.

Пора, мой друг. Отринем и оставим.
Восполним, воздадим и предадимся
Течению любви и обстоятельств.
Любви – людской. А обстоятельств – разных.

Как яшма в янтаре. Скользит над люлькой
Рука. На локте тенью локон.
На сгибе родинка. Твой мимолетный рокер
Отсюда далеко и беспробудно.

И чай нам днесь; травы твоей подарок.
Прядет ушами кролик. Рыщет ветер.
Шуршит тетрадь. Рождаются поверье
На радость обстоятельствам и людям.

* * *

Владимир ЗУЕВ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГРАФОМАНА

(из романа "ЧЕРНЫЙ ЯЩИК")

Д-р Штольц, унимая вспыхнувшую досаду попеременным парадоксальным дыханием (методы Стрельниковой и Бутейко), в оставшееся до конца рабочего дня время, в состоянии глубокого аналитического самогипноза открыл рукопись литератора М. и прочитал:

"Введение в Изложение Учения (Опыт Изучения)"

"Весь многовековой опыт развития известных (и ни на что не годных) идей убеждает в том, что возникновение Моего Ученья было исторически неизбежно. Оно не только прямо вытекает из Моей же, принципиально новой Философии, но и отвергает, посрамив на собственной мировоззренческой основе, все то ложное и ненужное, что накоплено доселе (в пустых целях) во всех областях знаний.

В предшествовавший Мне период все идеи и концепции на любой счет обладали кардинальным недостатком: они опирались на вздорную интерпретацию Всего и полное незнание истинного смысла Его (если таковой есть), что и объясняет их незавидную историческую участь.

Мое Учение определяет принципиально новые пути в развитии Всего и открывает новый этап в исследовании Его. Особенностью Моего Учения является заключенное в нем объяснение истинной природы Всего (Его), ибо Мною со всей мыслимой полнотой выявлены все истоки и итоги Всего (Его), дан ключ к изменению и преобразованию Всего (Его) и убедительно показана полная несостоятельность всех остальных идей и воззрений на сей предмет.

В связи с этим ясно, что сколько-нибудь доступное Изложение Моего Учения, а, тем более, Моей Философии, ни в коем случае не может быть обнародовано, ибо идеи и концепции подобной глубины и силы являются (что и требовалось доказать) безусловной тайной".

"Это определенно напоминает нечто... но что?" – всего лишь на мгновение задумался д-р Штольц, машинально переворачивая страницу, – его экстрасенсорному взору эксперта уже предстало нечто экстравагантно экстраординарное, не позволяя экстренно экстраполировать экстремально экстрагированную мысль на эксцентричность эксцеса (каковы экспрессия и экстерьер?!):

"Энциклопедия Графомана"

"Аболиционистская литература (по всей видимости, от лат. – уничтожение, отмена) – таковая, если не изменяет память (что Вы, память – не жена, сэр!), связана с общ.-полит. движением за освобожде-

ние негров от рабства (30 – 60 гг., XIX в., США). Неужели Л. может иметь такого рода цели? Разве это – Л.?

Бедные негры! Напомню коллегам, что негр – суть представитель негроидной расы – с курчавыми волосами, темной кожей, широким и плоским носом, и некоторыми другими признаками (см. статью "Арап Петра Великого"). Рабство же – исторически первая и наиболее грубая форма эксплуатации; состояние и положение раба; полное подчинение чужой воле, влиянию. Вот оно что? Немедленно уберите зеркало, оно неизбежно вызывает в моих соплеменниках авто-агрессию!

Повторяю: бедные, бедные негры! следующая станция "Интернациональная"; осторожно, двери закрываются; не прислоняться! вам дурно? держитесь за поручень! Бедная Хижина Дяди Тома! Сумма страховки – смехотворна! Где она ныне, эта отдельная жилплощадь без удобств и телефона на камине? Где сам Том? (См. II-ой том соч. Г. Бичер-Стоу.) Ты ведь не бросишь старика Джима, Том? Нет, Геккельберри!

(Его национальность – финн.) Вот плот – дружбы народов надежный оплот; неудержимо влечет нас теченьем экологически гибнущей Леты (сброс стока вод ради орошения опытных полей Алабамщины) в низины свободы от денежного мешка (краеведческий музей Стикса)...

Увы! В черном ящике ночи негра выдавали крутые белки закатившихся глаз, быстрые клавиши отменных зубов, резкий запах мускуса (или уксуса?) и страшный грохот священных там-тамов! Том, Том! Там, там... Бей, барабан! Помни о Лумумбе! Смерть Чомбе! Пионеры Фенимора Купера пламенно заявляют (на бегу от инфаркта): "Руки прочь!" Дочь Африки, как Твое имя? Дезоксирибонуклеинобабалумбунапатату! Так Вы не прочь? Да будь я и негром преклонных лет, я б суахили выучил только за то... Никаких условий! Взмах – не глядя, ты или покойник дядя, справедливо отмечавший, что одним из выдающихся произведений А.Л. является роман Р. Хилдрета "Белый Раб или Воспоминания Беглеца".

Среди сомнительных аналогов А.Л. в отечественной словесности можно указать на своеобразное творчество Н., избравшего по окончании Ленинградского университета (бывшего имени) блистательную карьеру истопника котельной № 9 РЖУ на Выборгской стороне, где донныне так сильны революционные традиции песен протеста в глухие годы застоя. Следовало бы хорошенько рассмотреть, уважаемые гражданами судьи, его художественное полотно (ширина – 75 см., остаток – 92 см.: ни туда – ни сюда; не хотите – не берите; платите в кассу; проверьте – не отходя), роман "Белый Раб или Воспоминания Подлеца" (ср. с наз. соч. Р. Хилдерта), а также трагико-лирическую повесть "Литературный Негр № 2", если бы не бытованье этих полуподвальных сочинений лишь в трех (донныне изъятых) машинописных экземплярах, и, как следствие, полная неизвестность автора и его детищ (чудищ, что обло,

озорно и лайяй!) сколько-нибудь широкой (Так сколько Вам нужно? Метр сорок – на портьеры с видом на Кордильеры; сдача – портье) читающей публике, в связи с чем – довольно об этом.

Темы и идеи А.Л. см. также у Г.У. Лонгфелло, Р.У. Эмерсона, Г.Д. Торо, У. Уитмена, Дж.Р. Лоуэлла и др. Допускаю, что это лишнее; но как на свете без него прожить! О да! ЛЭП-500 – не простая линия; желтое и синее – Ваши цвета, сир! Прощайте, до встречи в Таузере.

Абсурда Драма – как на ночь страшно говорила мама (см. статью "Авангардизм"): ты не ложися на краю – волчок ухватит за бочок! Абсурдный – неуместный и нелепый, из философии махрового экзистенциализма вошло, однако, в обиход. Необходим крестовый идео-поход (подход)! Лишение внутреннего смысла (где расписное коромысло?), причинно-следственные связи (из грязи нынче – прямо в князи!) – вот атрибут, увы, не-нашей жизни, погрязшей в мрачном кризисе идей – пугайте темнотой детей (людей)!

Гротеск, комизм (сквозь семирадужье очковых призм – "о, сказка счастья! я обожаю организм твой, Настя!"), бессмысленная ложность бытия, что живо ощущая я, в тумане подвигу приравненного быта... чу! дьявола соблазн – копыто, во тьме мерцает антрацитом!

Я В Ожидании Годо провел сознательную жизнь! (Не заложил он динамиту: ну-ка, дрызьнь!) Где: Лысая Певица, Носороги, Стулья? Уж полночь близится, а Г. все нет. Простыл обед, забыт обет; ответа – нет.

Сознайтесь, Вам же будет лучше: не такова ли щедро практиковавшаяся (вша я ся!) Э. Ионеско, С. Беккетом, Ж. Жене, Б. Вианом, А. Адамовым, Д. Бушати и Э. Д'Эррико, Х. Пинтером и Н. Симпосоном (но где безбородый обманщик?) метафорическая передача-чувств-шока-осознания-иллюзорности жизненных ценностей перед лицом иррациональной жестокости смерти?

(Вот ваш удел я осмеять его посмел не оттого что смел но оттого что честен так посмеемся напоследок вместе а при успехе и аресте поклон вдове жене невесте...)

По здравому же рассуждению, в приложении к вящей славе Отечества, весьма бы склонны на русских подмостках сему гисторическому паноптикуму лицедеи должны были быть, с прилежаньем следуя академпараграфу о неукоснительном согласии обыкновению жизни, коему в употреблении матерьялу на театре особая честь оказана донныне и впредь будет! Однако же, в следствии с превеликой дуростию оных иных, подале капельмейстерского носу не зрящих, положение сие куда как скверно и пушчим чайням заезжих теоретикусов нимало не отвечает, в чем и подписуюсь:

С подлинным – верно: *Иванов 7-ой.*

Авангардизм – от фряжского, что означает: передовой отряд. Вы не ошиблись? Хорошенько проверьте у спецов! Кто Вам позволил дискредитировать классово выверенное слово?

Позор! Стыдно и выговорить при детях: кризис сознания обнажил разрыв меж упорядоченностью идеологического мышления и раздраемой противоречиями действительностью – хоть святых выноси! Но им (авангардистам) все мало! Сумасшедшим – свободу совести слова собраний! Они слепо усматривают лже-проявлением того-сего якобы-выделенье лже-искусства в де-особую, де-лишенную якобы-социальной лже-значимости псевдо-сферу! (Кавычки добавить по вкусу.) Разумеется, товарищ (верь мне!), все это – в корне ошибочная платформа групп и группок, с идеями и идейками, делами и делишками, деньгами и деньжатами, индюшатами и Упанишадами!

Негодяи! (Не Вам!) Вы смотрели телевизор? Будем бдеть! Ползучая реакция (Пирке, Манту, Вассерман) не дремлет, словно кот ученый, что ходит на цепи вокруг да около!

Диспут: Им (экспрессионизм) нужна подчеркнутая эмоциональность? А какова их национальность? Им (дадаизм) любо разрушенье эстетики, канонов? А куда нам без эстетиков и каноников? Им (футуризм) потребна социальная активность? Гнусная демонстративность и альтернативность! Им (сюрреализм) хотелось бы влиять на подсознание? А наша сила – знание: сначала бытие, потом сознание! Им (новый роман) мнится, что восприятие хуже отчуждения? Очередное заблуждение!

Товарищ, верь мне, верь, взойдет она, остроконечная звезда; из-за обмолвок безобразья восстанут наши племена!

Внемлите: Слава Омиру традиции гордой! Долго внимал Аполлон безуспешно черному ящику авангардизма! Муза, доколе внимать ему впредь? Вас заклинаю я Кратким (расширенным) Курсом, пииты (пиитши): А., несомненно, хуже чем Ницше; вас подражать А. деструктивному – Кремль упаси! Если ж, однако, уроды найдутся и потаенно во вред разовьются – ты не жалея, мой читатель, ублюдца: первым, в срок донеси!

Не знаю, удалось ли мне донести до Вас свою мысль во всем ее великолепии, но в случае постоянного углубления принципиальной антиидеологической направленности А. смыкается с платформой "нового левого радикализма", полностью (какого-то лешего) отрицающего культуру! Вы рубите сук, на котором сидите (повешены), господа хорошие! Сучковатость и свилеватость – суть пороки древесины; см. статьи: "Дуб", "Бук", "Граб"...

А. нам – чуждо! Им бы – наши нужды!

В связи с вышеизложенным, на рассмотренье депутатского корпуса вносится "Проект Закона об А.", с сохранением публичной гражданской порки в качестве основного стимула индивидуальной

трудовой деятельности в этой важной народохозяйственной сфере. Прошу голосовать! А Вы опустите руку, Вас здесь не хватало! Хватайте его! За; против; воздержалось; в буфете; в отъезде; в туалете; кворум.

Нельзя не заметить, что всенародное обсуждение "Проекта Закона об А." показало все возрастающую активность наших сограждан в таких сложных вопросах, которые не имеют ответов (а они не смыслят ни бельмеса).

Благодарю за внимание; с Новым Годом, с новым счастьем, товарищи! На сегодня – все, можете расходиться; и – последнее: уходя, гасите свет знаний!

"Авеста", собрание священных книг зороастризма – религии, распространенной в древности и раннем средневековье в Иране, Средней Азии, Азербайджане и Афганистане. Тут уж, сами понимаете, не до шуток (помни о С. Рушди!); кроме того (подавляющему всех и вся большинству) больше ничего не известно. Уж лучше – об ином; к примеру, о революционных демократах. Вы не против? Это – по программе...

Должен признаться, что я совсем не люблю революционных демократов! (Да да белинский чернышевский добролюбов кажется писарев кто еще но это не важно...) Да, я вовсе не люблю революционных демократов! Вы желаете знать – почему? Зачем Вам? В самом деле?

А почему, собственно говоря, я должен любить их? У меня вовсе нет (не был, не замечен) гомосексуальных наклонностей; кроме того, теперешнюю ливерную колбасу (в Отечестве) просто невозможно есть! – т. е. возможно, но – нельзя! (См. результаты опытов с домашними животными. Не едят? Ни в какую! Вот скоты!) Вы скажете, это не аргумент (факт)? Как знать...

Кроме того, меня слишком долго заставляли любить их (один из видов духовного изнасилования – см., например, журнал "Литература в школе"), а за что же их любить? Не за что! И в не-любви этой я вовсе не одинок! Нет-нет, и не говорите мне ничего! И слушать не хочу! Все это я прекрасно знаю и великолепно забыл!

Что по-Делать?! Этот роман всего меня глубоко безучастным оставил (инверсию – убрать), если не хуже... Таков мой Взгляд На Русскую Литературу В Том Году и Эстетическое Отношеньё В Действительности – Луч Света в Некотором Царстве-Государстве на Прогулке По, Кушам Российской Словесности. Вот так! Тысячу извинений! Попрошу без рук (ног)!

Люди! Не-любовь моя к ним (революционным демократам) имеет как онтологические, так и гносеологические (и аксиологические, семасиологические и т. д.) корни, но... умолчим о них: слишком много чести (см. также: В. Набоков (Сирин), "Дар").

Теперь, пожалуй, о "черном ящике" или об оз. Титикака. Соленое озеро в Центр. Андах, на границе Перу и Боливии, на выс. 3812 м., 8300 км². (величайшее из высокогорных озер мира). Глуб. до 304 м. Сток по р. Дегуадеро в оз. Поопо. Что еще? Наше время в эфире истекло? Передача была организована Главной ре... акции... сов... местно... Гудки. Ты спишь?

Автобиография – от греч.: сам жизнь пишу! Эх, что и говорить! Вот, бывало... Впрочем, не время и не место!

Ранний образец жанра: "Исповедь" Блаженного Августина; более поздний: "Исповедь" Ж.Ж. Руссо; еще более поздний: "Исповедь" Л.Н. Толстого (спорно); совсем поздний:

"Я тебе так: быват, вспомянешь – око вон! Не туды! А надоть – тае! Штоб жизнь пережить, не больно-то! Как есть – делов! Цел – и спасибо!"

Или: "Долго, скоро ли – не знаю, /Только уж наверняка/ По глазам сей час смекаю: /Кто там жил без огонька?/ Коли в жизни нету цели – /Тут ты сам себе судья!/ То, что прожил еле-еле – / Что сказать тебе? Ведь я.../" и т. п.

Или: "Собрались мы как-то в позапрошлом году на охоту (рыбалку)! Я и говорю соседу, из бывших: как жить-то будем? А ему – чудно, ей богу! – мучительно больно! Делать нечего, собрались засветло и пошли... А собака моя (его) Дианка, дочь Трезорки, как чует: то вперед забежит, то ляжет; то залает, а то завоет (как дитя) – будто без цели, только, как начало смеркаться – гляжу..."

Или: "Годы, годы! Летите (голуби), летите! Сколько вас, бесцельно прожитых, вихрем пронеслось в этот миг перед мысленным взором, оставляя навсегда эту мучительную боль в разбитом сердце..."

Или даже: "I – Майя! (Я – англ.; Майя – кажимость, иллюзорность мира – инд.) / О, годы гордыни; о, время нагое! / О, голое поле, распятое болью! / Доколе?! / Около: кол о кол – колокол! / I – Майя! I – умираю.../" и т. п.

Если же характеризовать А. с точки зрения литературно-психологической, ясно, что А. свойственно стремление осмыслить прожитое как целое, придать эмпирике оформленную связность целеполаганья, что достигается обращением к логике вымысла. Именно поэтому А. пишутся, как правило, в зрелые годы, когда большая часть жизненного пути уже позади. Короче говоря, чувят – хана! врут – напропалую! а за руку не поймаешь: со-чи-ни-те-ли!

В заключение образчик более типичной беллетризованной А.:

"Родился я в ... после ... незадолго до ... Сколько себя помню, нас, стриженных в счастливом советском детстве "под полубокс"

(о девочках речь – впереди), с подобающей казенной строгостью учили прилежно и без запинок лгать. Первые уроки этой отечественной гражданской премудрости были получены нами еще в детском саду (если не в яслях) или в начальной школе, в некоей "октябрятской звездочке", на праздничных "поэтических монтажах", с текстами: "С неба солнце светит ярко на отряд ребят! Нет счастливей на планете наших октябрят!" и т. п., но куда более изощренно в радостной пошлости этой звонко декларируемой, как бы невинной, еще (или уже) не осознаваемой, но заведомой хвастливой лжи... Дальше – больше! Чего стоят бесконечные уроки того, что именовалось "История СССР или КПСС", торжественно обставленный выпускной фарс по "обществоведению"; холодно-неприятный вступительный допрос (на тот же предмет) в вуз; сонные часы армейских полит-занятий; тягостно-бесцельные высиживание обязательных семинаров по некоему "общественно-политическому самообразованию" (о, слова и дела – монстры!) в унынии службы... А собрания и заседания всех клинических видов, с неременным единодушным одобрением или таковым же осуждением – несть числа им на любой памяти! Отче наш! Ложь нам насущную даждь нам днесь!

И вот, ныне, после того как мы, бывшие счастливые советские дети, прожили жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (родная тавтология!), нам говорят: довольно! не лгите!

Благодарим покорно! Чего и Вам желаем! Искренне Ваши (Наши)! Остаемся при своих (моих, твоих, наших)! Мужик! Пошто ужика поймал и мучишь? Проба пера проба пера проба пера проба пера проба...

Д-р Штольд поднял отуманенный взор на авиационный хронометр (на переврку оказавшийся неисправным высотометром: странный подарок!), перевел слезные глаза к напольным голландским часам, тихо пробудившимся хрустальной мелодией "О, Танненбаум, ви грюн зинд дайне Блэттер..." ("Ах, елочка, как зелены твои иголки..." – нем. дет. песенка) – где вы, рождественные подарки счастливого детства! – и наконец понял: настал конец рабочего дня, и Шехерезаде пора прекратить недозволенные речи.

Толстая папка цвета казарменного кирпича, изнурительно навсегда пахнущая рыбьим клеем...

("Сей замысел и горд и дерзок когда бы не был этот труд и сладостен и мерзок кто жертвуя столь кратким мигом бытия отдал его в размен словам но я в холодной стойкости решенья отраде вольного безумства исступленья обман науки ложной предпочел ах отчего я не учел страстей движенья страх сомненья и наслажденье искушенья...")

...пахнувшая рыбьим клеем, до времени сомкнула ветхую бахрому ядовито-зеленых завязок и покорно легла в служебный стол, как в гроб.

Д-р Штолыц, после чашечки отменно горячего эрзац-кофе, в аромате суррогат-сигары "Смоки", удобно расположившись в холостяцком прибежище любимого мехового кресла (подарок давнего пациента, знатного оленевода, страдавшего непереносимостью холода и одиночества), медленно прикрыл глаза и...

"Как Вы себя чувствуете, любезный д-р Штолыц?"

"Спасибо, куда лучше..."

"Я не хотел бы показаться назойливым..."

"Пустяки! Я весь – внимание!"

"Вы не прочь посвятить остаток этого вечера чтению рукописи литератора М.?"

"Если Вы настаиваете..."

"О нет, упаси Бог! Но это было бы так кстати... Вы не запомнили, на чем мы остановились?"

"Позвольте я взгляну... "Черный Ящик", "Энциклопедия Графомана" – не так ли? Я приступаю?"

"Сделайте милость!"

И д-р Штолыц, учтиво учитывая участие (автора) учинил ученое чтение:

"Энциклопедия Графомана"

"Авторизация – офиц. утвержд. авт. текст. произв., преим. в перев. для изд. Пренебреж. А. (по принц. "черн. ящ.") привод. к парадокс. результ. См. прим. перев. без А. с рус. яз. на рус. яз.:

"Брат моего отца, человек исключительно порядочный, серьезно захворал, понуждая близких к пietetу – странная фантазия! Таков прецедент; а все же (черт побери!) сколь тягостен сплин необходимости круглосуточно и неотлучно дежурить у постели недужного! Сколько недостойной хитрости в шутках с полумертвым, в заботах об удобстве его постели, в горестной мине жеста: "Вот снадобье...", в лицемерном сочувствии и тайных размышлениях: "Скоро ли ты предстанешь пред очи Господа!"

Вот – мысли юного плебоя, мчащего по скверной проселочной дороге в казенном конном экипаже..."

(Пушкин А.С. "Евгений Онегин", 1; 1, 2.)

"Первое лицо не забыло дивный момент: она возникла напротив, подобно краткой галлюцинации, воплощением совершенства. Приступы безысходной печали, озабоченность в грохоте хаоса – не могли

заглушить отзвуки ее ласковых речей, исказить (в объятиях Морфея) ее симпатичный облик.

Минуло время. Революционный шквал разогнал вчерашние иллюзии; первое лицо тщетно вспоминало ласковые речи, божественный образ. В захолустье, во тьме неволи, медленно-неслышно складывалась судьба".

*(Пушкин А.С. "К ***").*

Автора образ – сама проблема А.О. представляется нестерпимо скучной и, по сути, высосанной из литературоведческого пальца, в связи с чем имеет смысл расширить предмет рассмотрения.

Приходится с нескрываемым раздражением констатировать, что до сих пор не перевелись т. н. "знатоки литературы", порочно убежденные, что стоит им, в меру своего разумения, ознакомиться с текстом того или иного произведения, как они беззастенчиво готовы самоуверенно утверждать, что им отныне известно – каков его автор: голубая душа или отпетый негодяй, агнец искренности или продувная bestia...

Между тем, ответ на подобный вопрос (хотя А.О. был и остается излюбленным объектом кандидатских, докторских и прочих монографических спекуляций на тему) – подчеркнем: даже приблизительный ответ на такого рода вопрос весьма и весьма проблематичен.

Мало-мальски объективные историки литературы легко подтвердят этот двусмысленный статус А.О., но, быть может, вернее всего обратить внимание на некорректность самой постановки такого вопроса?

В самом деле, кому, какое и чье собачье дело – каков А.О.? И разве не печальна (хотя и вполне заслужена) участь той книги, которая не может вызвать иного интереса, кроме домогательств обывательского любопытства на счет А.О.?

Все это совершенно неубедительно – что ж... Тем, кто не может унять своего романтического или разоблачительного зуда в отношении А.О., можно предложить хорошо отрезвляющий эксперимент:

Собственноручно написать произвольный художественный текст, объемом не менее 20 а. л. (500 маш. стр. – средний размер среднего отечественного романа – ради унификации результатов), представить его (без указания имени автора) на суд соседей и сослуживцев (а при отсутствии таковых воспользоваться почтовыми услугами, в адрес литературной редакции с солидной репутацией), после чего, добившись от них максимально подробного суждения об А.О., сравнить варианты полученной в результате эксперимента чепухи с собственной самооценкой (тавтология – намеренно). Ясно, что неизбежным итогом будет впечатляющий диапазон ощущений: от изумленья до негодованья...

Этот несложный опыт является весьма сильнодействующим средством от упомянутого зуда, вызывая, к сожалению (в ряде

случаев), нежелательный побочный эффект: возникновение иного зуда – дальнейшего сочинительства (что, впрочем, не относится к теме статьи).

Итак, либо: какое и чье собачье дело? Либо: грамматические и синтаксические упражнения на пятистах машинописных страницах; а позже – крушение судьбы, пошедшей под откос предательски сыпучей насыпи скоростной магистрали или тихоходной ж.д. ветки на заветный Парнас... И, как сказал поэт с мертвенным взором: "Под насыпью, во рву некошленном", красивые и молодые, уродливые и пожилые – мир праху их А.О.!

Авторское право – по сути, гнусное измышление продажных лежурстов, состоящих в лакейском услужении у западных толтосумов от буржуазного книгоиздания. А.П. по их лицемерным заявлениям, де-должно, де-обеспечивать:

– право выбора способа обозначения авторства, в т. ч.: псевдоним, аноним (очевидно стремление протащить лже-идейку ухода автора от полной ответственности за свое слово и дело!);

– право на неприкосновенность произведения: только автор вправе вносить в произведение изменения и разрешать это иным лицам (очевидна дискредитация института корректоров, редакторов, цензоров, их руководства всех рангов, чреватая язвой безработицы десятков тысяч полноправных членов общества!);

– право на опубликование, воспроизведение и распространение произведения (очевидна абсурдность демагогического лозунга, прямо ведущего к полной анархии мысли, слова и дела, по возмутительному принципу безответственных лиц: "кто во что горазд!").

Метко возразил подобным "борцам за идею" и некоторым оболваненным ими литераторам видный писатель Г., автор таких толстых романов, как "№ 1", "№ 2", "№ 5" и "№ 7", на региональной конференции в детской районной библиотеке им. Г.:

"У нас, подлинных писателей, нет, не может и не должно быть никаких прав... кроме одного: писать или не писать свои книги, что должен раз и навсегда решить каждый пишущий, сверяясь со своей беспокойной совестью и чувством неоплатного долга перед всеми теми, у кого нет, не может и не должно, и не будет никаких прав... кроме одного: читать или не читать наши книги!"

Особую актуальность в наши дни приобретает смелое предложение инициативной группы читателей, отвергающих принципы буржуазного (в своей генетической сути) А.П.:

"В целях полного устранения чуждых подлинно свободному творчеству побуждений честолюбия и наживы, и претворения в жизнь принципа бескорыстной любви к искусству ("не можешь не писать – пиши!"); "не можешь писать – не пиши!") – с 1.1.199... г. на территории России выпускать произведения (книги, журнальные и газетные публикации) без указания имен авторов и выплаты гонораров".

"Вот тогда... я на вас погляжу, голубчики!" – любовно-полюемическим образом заявил в своем обращении к литераторам один из сопредседателей инициативной группы, рассчитывая на широкую поддержку наиболее сознательной части литературной общественности, отечественных специалистов по отечественному А.П. и государственных финансовых органов.

Ваши отклики и предложения следует направлять по адресу: г. Новокозельск, Антихристов пер., строение "Г", "Клуб Красных Инициаторов", Комитет Распределения Благ; Миттельшнауцеру М.Ж.

Адаптированный текст – от лат.: приспособляю; "облегченный" текст произведения – для малоподготовленных читателей (или детей). А. тех или иных текстов (как принцип сов. лит.) требует немалого специфич. мастерства и лит.-идейн. находчивости, что наглядно показано на предлагаемом примере:

Оригинальный Текст

"В классической позе: чем шире женщина разведет бедра, тем глубже мужчина может ввести свой член. Такая позиция хороша, если у мужчины небольшой пенис, а основные эрогенные зоны у партнерши располагаются глубоко во влагалище. Если же после введения члена женщина сомкнет бедра так, что колени мужчины будут располагаться по сторонам от ее ног, то происходит активная стимуляция входа во влагалище и области клитора. При этом и пенис будет стимулироваться весьма активно, что может ускорить эякуляцию и наступление оргазма у партнера. Такую позицию вполне можно рекомендовать для завершения полового акта (во время которого иной раз необходимо несколько раз сменить позу).

Можно составить список поз ("обратная", "на боку", "сидя", "стоя", "сзади" и т. д.) и пробовать их одну за другой, но прежде необходимо решить: готовы ли Вы превратить Вашу постель в своеобразную исследовательскую лабораторию? Опыт показывает, что из 10 – 12 разнообразных поз партнеры, как правило, выбирают 2 – 3 наиболее соответствующие их запросам и возможностям и практикуют их до тех пор, пока не появится желание новизны".

Адаптированный Текст

"Одной из задач коммунистического полового воспитания на современном этапе является задача всестороннего и гармоничного развития советского человека, создания лучших условий для подлинного полового становления и утверждения личности на основе дальнейшего повышения эффективности всего общественного производства.

Ведущую роль в развитии полово-зрелого члена общества играет половое обучение в широком смысле слова, которое заключается в усвоении общественного опыта, накопленного предыдущими поко-

лениями, в овладении материальной и духовной культуры пола, созданной человечеством. Процесс верного полового воспитания предполагает не только активное воздействие на воспитуемого, но и его самостоятельную половую деятельность, имеющую социально определенные цели, направленность, мотивы. Вот почему правильная организация подобной деятельности является важнейшей воспитательно-образовательной задачей на нынешнем ответственном этапе".

Д-р Штольц оторвал иронически блуждающий взгляд от рукописи и едва слышно произнес:

"Что порочно с самого начала, то не может быть исправлено течением времени..."

"Я не узнаю Вас! Вы, с Вашим знанием людей... и нечто, похожее на политическое высказывание? Прошу Вас быть осмотрительнее – абсурд борьбы идей не входит в мои эстетические планы... Вам следовало бы считаться с автором!"

"Вот как? Что ж, прощайте..."

"Спокойной ночи..."

Но как бы ни было грустно и одиноко д-ру Штольцу, следует (к его чести) заметить, что перед сном, помимо общегигиенических процедур, он все же принял несколько достойных хатха-асан (випарита-кара-мудра, дханурасана, сурья-намаскар, гарудасана, уддияна бандха, шавасана), завершив свой обычный вечерний ритуал глубокой медитацией: в неведомой дали, хрустальном Таинстве Великого Космоса медленно плывёт в Абсолютной Тишине и Покое – Свободный Разум (Штольц), имея Высшую Цель в себе самом... – что можно (с тонкой усмешкой) рекомендовать и тем, у кого достанет сил и терпенья, столь редких ныне, как, впрочем, и все остальное.

*

*

*

Владимир КУЗЕМКО

СВЯТЫЕ С ОРУЖИЕМ*

(наброски киносценария)

...Итак, 1919 год. Маленький уездный город. Разгул Совдепии. Типичный пейзаж – голод, тиф, разруха, массовые расстрелы заложников, неубранные трупы на улицах, страх и беззащитность мирных обывателей; куда ни глянь – кругом кровь, грязь, дерьмо, моча и юркие шустрячки-комиссары в кожанках с маузерами, портфелями и мандатами. Крупным планом – их дегенеративные лица с печатью тупости, жестокости, хитрости, злобы, трусливости и исторической обреченности. Разумеется, добрые две трети их – это евреи, сионисты-масоны, остальные же – венгры, поляки, латыши, китайцы, немцы, сербы, негры, греки, американцы и прочие безразличные к судьбам России инородцы. Так сказать, наглядное мурло "Интернационала".

ЧК... Подвалы, доверху забитые трупами. Палачи-чекисты, любимое занятие которых – закалывать штыками беременных женщин, детей и стареньких благородных княгинь. Среди множества отвратительных, уродливых, страшных, кровожадных и по-звериному оскалившихся плебейских харь лишь одно вполне человеческое лицо: доброе, по-русски открытое, волевое, умное, с мудрым, пронизательным и всезнающим взглядом. Зритель сразу же догадывается: это лицо может принадлежать только внедренному в ЧК белому офицеру, сотруднику денкинской контрразведки (его играет Вячеслав Тихонов времен Штирлица). Во весь кадр – думающие глаза.

Голос за кадром:

"Как быть?.. Доблестная Добровольческая армия уже недалеко от города, и готовящиеся к паническому бегству большевикилюдосды замыслили новое, самое ужасное из всех своих преступлений – поголовный расстрел местной интеллигенции. Понятно, что интеллигентов пачками расстреливали и раньше, но чтобы вот так, всех и сразу – такое пока что было в новинку! Как же предотвратить это злодеяние? На кого положиться? Кому довериться?.."

...Заседание бюро уездного комитета большевиков. Чуцело недавно замученного попа в углу комнаты. Абажур из кулацкой кожи на уютно освещающей кабинет настольной лампе. Длинный стол укрыт шкурой бывшего уездного исправника. За столом сидят большевистские заправилы уезда – явные выродки, мерзавцы, садисты и ино-

* Данное название является лишь одним из возможных. Другие варианты: "Любимцы России", "Белые дьяволята", "В битве с красным оскалом", "Рышари контрреволюции", "Хоругвью – по харям!"...

роды. Ярко выраженной славянской внешностью (весьма симпатичной) наделен лишь один из членов бюро (его играет Армен Джигарханян любого из своих возрастов). Крепко стиснув зубы, этот еще не растерявший порядочности и совестливости человек молча слушает, как его товарищи по партии обсуждают планы будущего кровопускания из интеллигентов-гнилушек. Циничный хохот, матюки, цитаты из Маркса и Ленина, а также некоторые намеки на тесные гомосексуальные отношения между большинством присутствующих. Джигарханян на распутье.

Голос за кадром:

"Всю жизнь отдал коммунистической утопии. И вот – страшное прозрение! Большевицкая партия – это алчная свора мошенников, негодяев, кретинов и убийц, руководимая группой авантюристов, сионистов-масонов и германских платных агентов! Россия – накануне гибели! А он тут, среди этих недочеловеков, а не там, в рядах отважно сражающихся с большевицкой заразой героев-белогвардейцев! О, сколько кошмарных преступлений они уже успели совершить! Взять хотя бы царя, Николая Александровича... Сидел себе спокойно во дворце, никому не мешал, как мог заботился о благе России... А тут набежали эти... большевицки... сионисты... масоны... Устроили одну революцию... потом вторую... И Александрыча миролюбивого – к стенке... Какого царя понапрасну шлепнули! Не правитель был, а золото! Чего уж после этого от них, пролетарствующих диктаторов, ждать хорошего?!"

Совещание окончилось. Джигарханян выходит на улицу. Идет, куда глаза глядят. Трагические глаза. Одинокая слезинка на щеке. Вздрагивающие от боли ресницы. Останавливается. Перед ним – Тихонов. Молча смотрят друг на друга. Пауза. Кидаются в объятия, опознав друг в друге единомышленника. (Что нетрудно: раз с человеческим лицом, – стало быть, злейший враг большевицма!)

...Ночь накануне вступления в город славных белогвардейцев. Подвальное помещение, где ЧК содержит приговоренных к расстрелу. На грязном, заплыванном паркетном полу – врачи, учителя, инженеры, артисты, купцы, чиновники, писатели – цвет местной интеллигенции. Тихие, деликатные, культурные разговоры: расстреляют-де их, повесят, четвертуют, утопят по одному в нужнике (как это придумали сделать с сотней интеллектуалов в соседнем городе большевицкие иезуиты) или же найдут какой-то другой, менее гуманный и более мучительный способ казни? Примадонна гастролирующей в городе оперы (ее играет Алла Пугачева) поет что-то веселенькое, скажем – похоронный марш.

У дверей подвала (снаружи) греются у костра двое чекистов. Из их ленивой, щедро пересыпанной матерщиной беседы следует, что вчера за городом они изловили некую барышню-гимназистку, вначале изнасиловали ее вдоль и поперек, потом застрелили (засунув дуло винтовки ей между ног), освежевали, зажарили на костре и съели

с хлебом и луком. Ежась от ужаса, зритель узнает о нависшей над примадонной страшной угрозе: оказывается, перед ликвидацией каннибалы из Чрезвычайной Комиссии собираются потешиться и с нею!

Из окружающей тьмы выходят Тихонов и Джигарханян, якобы проверяющие караулы. Короткая дружеская беседа. Наши герои угощают караульных махоркой, а затем и финкой – каждому под ребро. Трупы мерзавцев под одобрительные аплодисменты зала кидают в костер. Из мрака появляются еще полтора десятка молодых лиц с одинаково прекрасными и одухотворенными лицами. Это – члены подпольной монархической организации. Поскольку выпустить интеллигенцию из подвала по какой-то причине нельзя (скажем, кругом чекистские заслоны), им надо продержаться в обороне до прихода белых. Роят окопы, заправляют лентой "максим", очень кстати оставленный в наследство караульными, и ждут...

...Рассвет. Неумоимо строчит пулемет, в упор кося атакующие орды красноармейцев – разумеется, вдребезги пьяных (за весь фильм вообще не удается увидеть ни одного трезвого бойца или командира РККА)... Они падают, падают, падают, но уцелевшие все равно продолжают атаковать, размахивая оружием и бутылками с самогоном. Гибнут один за другим и смелые юноши-подпольщики. Интеллигенты в подвале со страхом ожидают решения своей судьбы. Наконец из их защитников в живых остаются только Тихонов и Джигарханян. Кончилась последняя лента в "максиме", кончились и патроны в револьверах. Тихонов с достоинством говорит Джигарханяну:

– Благодаря вам я узнал, что все-таки не все коммунисты сволочи!

Джигарханян с достоинством отвечает:

– Ошибаетесь: сегодня вечером, порвав партбилет, я де-факто вышел из рядов большевистской шайки! И если я сейчас погибну – прошу считать меня монархистом!

Они крепко обнимаются, а затем, поднявшись во весь рост и крепко стиснув в четыре руки последнюю гранату, ждут приближения улюлюкающих краскомов. Но тут из-за домов в развевающейся бурке выносятся молодой генерал Добровольческой Армии (Михаил Ульянов начала 60-х), а с ним – его прославленная в боях конная дивизия. Побросав винтовки и самогон, красная сволочь пытается спастись бегством, но кони настигают их, острые сабельки в умелых руках со свистом рассекают воздух, и безмозглые головы одна за другой катятся по траве. Из подвала выходят спасенные интеллигенты, обнимают и целуют своих отважных спасителей – Тихонова, Джигарханяна и Ульянова. (Особенно горячо целуются Ульянов и Пугачева, из чего зрители могут догадаться...)

...Спустя неделю. Тот же город. Власть белых. Порядок,

спокойствие, изобилие продуктов и товаров (еще бы: рыночная экономика!), множество нарядных барышень на бульварах, вежливые и галантные патрульные, бенефис Пугачевой в театре, уходящие на фронт конники генерала Ульянова, бдительно и умело стерегущая покой законопослушных граждан контрразведка... Начальник контрразведки, молодой красавец-полковник (Юрий Соломин времен "Адъютанта его превосходительства"), нервно хрустя пальцами, укоряет виновато понурившегося Тихонова:

– Вы, кажется, забыли, штабс-капитан, что работаете уже не в ЧК! У нас, милостивый государь, арестованных не бьют, да-с!

Тихонов повинно молчит. Возразить нечего. Час назад на допросе одного из захваченных в плен комиссаришек, когда тот многоэтажно выматюкал самого Тихонова и всю его родню до десятого колена, да еще смачно плюнул в висевший на стене портрет почившего в бозе государя императора Николая II, штабс-капитан не выдержал и ударил выродка по щеке лайковой перчаткой. И ударил-то чисто символически, и самого выродка спустя пять минут расстреляли во дворе контрразведки (процесс над ним был гласным, открытым, с участием опытного адвоката, которого потом также расстреляли, за компанию с его подзащитным), но это уже ничего не меняло в ситуации: он, Тихонов, ударил пусть и большевика, пусть и маньяка, но – человека!..

– Я очень ценю, уважаю и даже люблю вас, Вячеслав! – с грустью говорит Соломин. – Но завтра на рассвете вы будете расстреляны!..

Тихонов шелкает каблуками:

– Так точно-с, господин полковник! Заслужил-с!

...Рассвет. Через подземный подкоп в подвал контрразведки проникает Джигарханян. Предлагает Тихонову скрыться. Тихонов гордо отказывается. Не к лицу ему, доблестному офицеру Добровольческой армии, бежать от справедливого, заслуженного им наказания. Потрясенный дворянскими понятиями о чести и достоинстве, бывший большевик Джигарханян обнимает его и целует перед вечной разлукой. Но в эту секунду за стенами гремят взрывы, отрывисто шелкают выстрелы – это в город, воспользовавшись отсутствием крупного гарнизона, ворвались тачанки Нестора Махно. (Кстати, весьма трагическая и противоречивая фигура: с одной стороны – герой гражданской войны, ибо беспощадно уничтожал красных, но, с другой стороны, – бандит, ибо одновременно позволял себе поднимать руку и на белых!) Несуетливо, с достоинством отстреливаясь, прикрывая огнем отход товарищей, доблестнейший отступают из города. Тихонов и Джигарханян, выбравшись из подвала через подкоп, бегут в лес, где вскорости натыкаются на Соломина. Тихонов, понятно, тут же предлагает полковнику привести смертный приговор над ним в исполнение, Соломин отвечает: дескать, не время, да и патроны надо беречь! Но Тихонов настаивает, потом пытается

застрелиться, чему активно мешают Соломин и Джигарханян. Наконец они сходятся на том, что Тихонов, конечно, будет расстрелян, но не сейчас, а потом, когда вернутся белые.

– Спасибо, друзья! – говорит Тихонов, сдержанно улыбаясь.

Но обстановка обостряется. На опушке леса появляется группа красноармейцев в сопровождении примадонны. Хрипло распевая испитыми голосами "Миллион алых роз", эти гнусные хамы, плебеи и культуроненавистники в шинелях всем взводом готовятся к изнасилованию... Затаив дыхание, зритель ждет подробностей... Сейчас он увидит все, крупным планом! Но показывают лишь часть, мельком и издали... Из-за деревьев дружно гремят выстрелы – это наши благородные герои вступаются за честь дамы. Превращенные в решето насильники один за другим валятся на землю, даже не успев открыть ответный огонь. Примадонна, всхлипывая от благодарности, целует своих спасителей (особо активно – Соломина, из чего зритель догадывается, что...).

В этот момент из чащи показался прибежавший на выстрелы вдребезги пьяный батальон Красной Армии. Бежать поздно, да и некуда; и, если на то пошло, от кого бежать – от этого сброда?! Офицеры занимают круговую оборону. Предлагают Алле Борисовне отдаться в руки атакующих. Однако певица гордо отвечает, что лучше умереть стоя рядом с белой гвардией, чем жить на коленях у быдла! После чего офицеры открывают беспощадный огонь, каждым выстрелом валя с ног двух-трех рабов большевизма. Увы – красных на этот раз куда больше, чем патронов. Уже совсем недалеко мчащаяся на подмогу конница Ульянова, но времени дожидаться ее уже нет. Встав во весь богатырский рост, зажав в восемь рук единственную гранату, наши герои поют "Боже, царя храни..." (Солирует Алла Борисовна.)

Пьянь в буденовках с дикарским завыванием набрасывается на них. Гремит взрыв – такой мощный, словно это взорвался целый склад с боеприпасами. Дым, пламя, ничего не видно. Из-за деревьев наконец-то вылетают на резвых лошадках конники-ульяновцы. Они косят саблями панически разбегающийся сброд из РККА. Три народных и заслуженных артиста в слегка окровавленном виде красиво лежат на траве. Спрыгнув с коня, председатель, маршал Жуков, генерал Чарнота (в одном лице) гулко рыдает над их телами, затем, подняв на руки примадонну, куда-то очень долго несет ее (очевидно – подальше от...), и слезы текут и текут по его обветренным скулам...

Звучит "Реквием" Моцарта.

Голос за кадром:

"Так почему же в итоге победили красные вурдалаки, а не эти замечательные орлы Белой гвардии? А потому – и ты, зритель, наверняка уже догадался! – орлы по причине своего неискоренимого

благородства не смогли опуститься до тех низостей, подлостей, мерзостей и жестокостей, до которых опустились в борьбе с ними большевики, масоны, евреи и прочие инородцы! Цена победы была столь ужасной и кровавой, что витязи белого движения просто не могли пойти на это! Вот почему и только потому! — они проиграли, и сдали мать-Россию в грязные лапы коварных изуверов-ленинцев!

Анафема же им, большевикам-христородавцам!

Честь и слава героям-белогвардейцам, павшим в боях за Бога, Царя и Отечество!"

Конец фильма

ПОСЛЕ ВЗРЫВА

Вследствие тягучих дождей и всеобщего возмущения атмосферы мертвецки пьяными в Белогвардейском районе в тот день были даже самые заядлые трезвенники. Не составляла исключение и дежурная смена персонала на местной АЭС. Двое операторов у пульта управления, по очереди прикладываясь к мензурке с заветным спиртом, от нечего делать заспорили: что произойдет, если резко "поддать пару" на реакторе, одновременно отключив систему охлаждения и аварийную систему отключения. То есть понятно, что рванет, но на какой конкретно минуте — на двадцать шестой, как считал один, или же на тридцать девятой, как настаивал другой? Доспорились до того, что заключили пари на ящик коньяка, ударили по рукам, разогнали реактор, отключили обе системы и стали ждать.

На 26-й минуте реактор и половину станции разметало могучим взрывом.

— Ура! Моя взяла! Тютелька в тютельку, как я и предсказывал! — заликовал выигравший пари, и тут же был убит шмякнувшим его по макушке куском раскаленного графита.

— Случайно повезло! Все равно должно было бы на тридцать девятой... Уж я-то точно знаю, на ядерной энергетике собаку съел! — разочарованно буркнул проигравший, потянулся к мензурке — и свалился вместе со стулом, сраженный мощным потоком радиации.

В считанные секунды похрапывающий на своих рабочих местах персонал "атомки" перекочевал с одного света на другой, ухитрившись даже не заметить столь дальнего перехода. Несколько часов разрушенная станция лениво горела, выбрасывая в щедро сочащееся дождем небо клубы радиоактивного дыма, пепла, крошечных кусочков графита и прочей гадости.

Какой-то шизик из расположенной по соседству психлечебницы заметил пожар и со скуки позвонил пожарникам в райцентр.

Но по телефону ему раздраженно буркнули что-то о дурацких шуточках и бросили трубку прямо в чан с остывающим после изготовления первачом. Так что невидимо-неслышное облако смерти имело возможность беспрепятственно распознаться по району и полностью эту возможность использовало.

Ночью в массовом порядке вымерло все население близлежащей деревушки, что и обнаружили на рассвете двое психов из психлечебницы, по обыкновению забредших на колхозную ферму подоить за тугие титьки тамошних доярок. (Любопытно, что самим психбольным радиация оказалась нипочем – факт, впоследствии так и не получивший в науке убедительного объяснения...) Несостоявшиеся дояры прибежали в клинику и подняли шум. Главврач, старенький, тусоватый и исполнительный, ввиду важности события решил позвонить в райком и известить руководство о случившейся катастрофе. В то раннее утро у телефона в райкоме дежурил мелкий функционер. Сам только что очухавшийся от пьяной дремы, он счел слова эскулапа бредом и грубо пообещал оформить документы на его исключение из партии за алкоголизм в служебное время. Перспектива расстаться с партбилетом так потрясла главврача, что он тут же повесился в своем кабинете прямо над письменным столом. Подслушавшая же разговор телефонистка с коммутатора райкома рассказала о нем подруге, та – мужу, тот – любовнице, та – своему мужу и его любовницам, и спустя пару часов все взрослые жители Белогвардейского района знали все. Поползли кошмарные слухи, началась тихая паника. Готовясь к неизбежной эвакуации, население метнулось в магазины и скупало все, что там находилось, а потом начало паковать имущество в чемоданы, мешки и узлы. И лишь тогда, получив информацию об охватившей район смуте, дежурный в райкоме дурачок решился доложить о ней секретарям райкома.

Районную организацию правящей Монархической партии в ту пору возглавляли деятели не только редкостного мужества и беззаветной преданности трудящимся на благо МП массам, но и мудрой осторожности, трезвой прозорливости и острого осознания своей исключительной незаменимости в качестве райвожаков. Поэтому при первом же сигнале тревоги секретари бесстрашно покинули свои роскошные кабинеты и героически бросились в заблаговременно вырытый под зданием райкома бункер (бетонные стены со свинцовыми прокладками, автономная энергоустановка, запас питья и продуктов на год), и уж только там приступили к обсуждению задач текущего момента. Результатом обсуждения было переданное к вечеру по местному радио обращение Секретариата к жителям Белогвардейщины. Категорически опровергнув "провокационные, абсолютно ни на чем не основанные слухи о якобы имевшем место на АЭС взрыве и последующих разрушениях", отцы района убедительно разъяснили, что "на самом же деле имела место

обыкновенная профилактическая продувка реактора в целях лучшего сгорания ядерного топлива, в ходе которой наблюдались некоторые световые и шумовые эффекты, а также получили случайные и весьма незначительные повреждения расположенные во дворе станции летняя кухня, сарай и два шалаша для охраны".

"Раз мы с вами, раз мы не сбежали — значит, все пока еще в порядке, и вам тоже ничего не угрожает!" — вот что меж строчек, контекстом, внушил Секретариат населению. Но эти убедительные разъяснения совершенно не убедили трудящихся, доподлинно знавших, что "атомка" сгорела дотла. Зато народ ясно понял, что эвакуировать его никто не собирается, и в качестве ответной меры хлынул всеми видами транспорта и пешком к границам района, спасаясь от неминуемой гибели. На границах граждан, однако, уже дожидались армейские заслоны с пулеметами, пушками, танками и категорическим приказом расстреливать на месте всех провокаторов и паникеров. А поскольку граждане легкомысленно не поверили в готовность военных стрелять по своим соотечественникам, то кой-кого для начала взяли и расстреляли путем массированного артобстрела колонн эвакуируемых и последующего (вдогонку убегающим) воспитательного удара истребительно-бомбардировочной авиации. Подпираемые сзади родными, но безжалостными танками, оставшиеся в живых трудящиеся вернулись к своим радиоактивным очагам, дабы достойно дожидаться там неизбежного конца.

Впрочем, не все смирились — некоторые продолжали возмущаться и даже вышли на улицы райцентра с плакатами: "Долой ядерное безумие!", "Спасите нас от лейкемии!", "Закройте АЭС-убийцу!" и даже "Позор бездействию Секретариата!" Вышедшую разгонять вставших пикетом у здания райкома демонстрантов милицию вмиг смыло внезапно хлынувшим радиоактивным ливнем, причем сами пикетчики уцелели, прикрывшись от потоков воды своими плакатами.

Спустя неделю треть населения уже гостила там же, где и покойный персонал АЭС. Примерно столько же ощущало в себе грозные признаки нарастающей лучевой болезни. Далеко не все решились обратиться за помощью к медикам. Но некоторые по наивности решились... По секретному указанию Секретариата таких расценивали как злых симулянтов с антипартийным уклоном (партия ясно указала, что никакого облучения вообще не было, а они своим собственным примером преступно пытались опровергнуть эту установку!), немедля погружали на вертолеты, якобы для транспортировки в областной госпиталь, поднимали на большую высоту и оттуда сбрасывали в жерло разрушенного взрывом реактора. Ежедневно придурки из лечебницы с диким ревом восторга наблюдали, как из-за облаков к развалинам станции с жалобными воплями стремительно несутся маленькие человеческие фигурки. После серии смачных ударов вопли смолкали, и больные

возвращались в палаты и продолжали доить за титки обезумевших от ужаса (и только потому и спасшихся!) врачей, медсестер и санитарок.

На двенадцатый день в одном из роддомов появился на свет первый младенец-мутант. Он был небывало крупным, с двумя головами и пристальной сощуренностью во взоре.

— Глянь-ка, а у него три ноги... И рук четыре! — потрясенно ахнула принимавшая роды акушерка. Младенец направил в ее сторону недобрый прищур. Спросил подозрительно:

— Тетка, а из наших ли ты, из монархисток ли? Что-то мне твое лицо не нравится... Ну-ка, подойди, я проверю, нет ли при тебе оружия? — и он двумя руками цепко ухватил акушерку за ягодицы, а еще двумя основательно взялся за ее груди. Акушерка взвизгнула и брякнулась в обморок.

На пятнадцатый день в живых оставался лишь каждый третий из жителей района. По местному телевидению выступил районный санитарный врач. Очень маленькую (незначительную, ничтожную!) дозу радиации население все-таки, оказывается, получило... Но он заверил, что доза эта абсолютно безвредна, если не сказать даже — полезна для человеческого организма.

— А ведь ходят еще глупые байки, будто бы вода из наших кранов светится в темноте, и ее опасно пить! — добродушно усмехнулся в телекамеру санитарный шарлатан. — Смотрите все: сейчас я выпью на ваших глазах целый стакан водопроводной воды, и мне ничего не будет!

И он действительно залпом осушил до дна стакан, победно усмехнулся, показал зрителям большой палец — и без всякой паузы рухнул навзничь вместе со стулом, мертво стукнувшись затылком о линолеум пола. Зрители были шокированы. На заседании Секретариата передачу расценили как откровенно провокационную, сеющую сомнения в мудрой политике, играющую тем самым на руку врагам партии и народа. Директора телестудии сбросили в жерло реактора, в отношении же врача пришлось ограничиться тем, что его посмертно и навеки исключили из рядов МП.

Мутантов с каждым днем рождалось все больше и больше, потом нормальных младенцев не стало вообще. Мутанты были очень крепки физически, выносливы, не по годам развиты, серьезные, дисциплинированы, не боялись радиации и, главное, проявили такое редкое по нынешним временам и ценное качество, как сыновью преданность вышестоящему начальству, в данном случае — Секретариату. А там это обстоятельство осознали и оценили по достоинству. Из шустрых коренастых крепышей-младенцев создали Комитет Главной Безопасности ядерной энергетики и для начала поручили им разогнать надоедливую демонстрацию у здания райкома. Фаланга вооруженных дубинками и железными прутьями коротышек с чугунными лицами двинулась на жидень-

кую толпу пикетчиков. Демонстранты встревоженно засуетились, засло-няясь от страшной угрозы своими плакатами, жалобно запричитали:

– Э, вы чего? Чего вы? Мы ж и для вас стараемся! Не трогайте нас! Вы же наши дети! А-а-а-а!..

Дубинки и прутья поднялись и опустились... Снова поднялись и опустились. И снова... И снова... Хлынула кровь, веселенькой дробью застучали по асфальту зубы, из раскроенных черепов щедро потекли антипартийные мысли... Штабеля безгласных тел погрузили на вертолеты и отправили в сторону "атомки".

Вся Белогвардейщина была раздавлена ужасом. Мутанты из КГБ шныряли по улицам, присматриваясь к прохожим и хватая всех подозрительных. То и дело проводились облавы и массовые обыски в квартирах: разыскивались скрывающиеся от возмездия хулители Секретариата, печатники пасквильных самиздатовских брошюрок о признаках и последствиях лучевой болезни, а также все "лучбольные" и младенцы-мутанты. Всех выявленных немедленно волокли на вертолетную площадку. И все это делалось под лозунгом защиты исторических завоеваний контрреволюции и беспощадного белого террора против всех антинародных сил.

И народ смирился. Пусть спустя месяц в числе выживших было уже только 10 % от первоначального населения, но зато среди них, живых, стала наблюдаться атмосфера небывалого до сего момента морально-политического единства и сплоченности вокруг любимого Секретариата. Мастера культуры на всех перекрестках славили Великую Монархическую партию, приведшую народ к столь впечатляющим успехам. Ученые подкрепляли эти эмоциональные оценки убедительными цифрами, фактами и комментариями, а заодно потихоньку втолковывали массам, что радиация – вещь чертовски полезная! Вновь популярными стали бывшие в ходу лишь на самой заре контрреволюции лозунги: "Под знаменем монархизма-утопизма – вперед, к победе феодализма!", "Монархисты – это ум, честь, совесть и вожди нашей эпохи!", "Монархическая партия – наш рулевой!", "Слава МП!" и "Спасибо МП любимой!"

Эта всенародная любовь народа к руководящей силе общества вызвала здоровую зависть партфункционеров из соседних районов. В Белогвардейский район зачастили чиновничьи делегации для обмена ценным опытом. Секретариат любезно давал своим руководящим коллегам советы относительно того, как половчее организовать у себя взрывы на АЭС с последующим облучением населения. Ввиду выявившихся серьезных заслуг персонала Белогвардейской АЭС в деле монархического воспитания трудящихся всех работников погибшей смены посмертно представили к наградам.

К этому времени выявились некоторые чисто курьезные аспекты влияния радиации на человеческие организмы. Так, прозревший

политически народ небывало укрепился и нравственно, и для начала бросил пить. То есть, у каждого как отрезало: больше ни капли в рот, и точка! Все ходили с такими трезвыми лицами, что с непривычки даже самые близкие родственники не узнавали друг друга...

А то еще: у всех евреев в паспорте неизвестно каким образом вдруг появилась отметка о том, что они – русские! Да что там паспорт, когда у них и на лицах теперь отчетливо читалось их исконно русское происхождение – прямо-таки вылитые братья-славяне! Бывшие парии общества ходили с гордо поднятыми головами и каждому желающему убедиться тыкали под нос свои паспорта, открытые на нужной странице.

Зато некоторые русские (а если точно, то активисты местного отделения общества "Памятливых") вдруг все как один стали... евреями! И по документам евреи, и по внешности евреи, и по разговорам – то же самое! Как ни странно, такой оборот событий их также вполне устроил. Быстренько оформив выездные документы, они в кратчайший срок все до единого выехали в Израиль. Бывшие евреи пришли на вокзал проводить бывших русских, и в момент отхода поезда забросали вагон гнилыми помидорами, выкрикивая при этом самые грязные из антисемитских лозунгов.

А одна доселе ничем не примечательная женщина вдруг стала рожать... ценные вещи! Всякий домашний ширпотреб, радиоаппаратуру, ювелирные украшения и так далее – и все это еженедельно! Причем, что именно она родит, зависело исключительно от желания ее мужа в миг зачатия!

– Только не автомобиль! – в очередной раз укладываясь под супруга, молила она. – Меня просто разорвет на кусочки! Давай лучше родим цветной телевизор, портативный... А?!

Муж, десятый год угрюмо испытывающий к жене лишь одно чувство – холодной ненависти, невозмутимо отмалчивался.

– Те...ле...ви...зор! – жалобно стонала из-под него жена. "Машину!!!" – с тупым равнодушием делая свое привычное дело, упрямо думал муж.

А о психлечебнице все забыли. По ночам из окон ее освещенного лучинами здания далеко окрест доносились развеселые крики, музыка, смех, дикий хохот, звон посуды, топот танцующих ног – это развратничали, пьянствовали, веселились, предавались всем радостям жизни шизофреники и параноики – последние нормальные люди Белогвардейской земли...

Ольга ШАМБОРАНТ

* * *

Если бы записи эти принадлежали человеку, известному чем-то другим, несомненным... Другое дело. А так, скажите мне даже, что вот жила такая монашка, сестра милосердия, умерла в одиночестве, на чужбине или, хуже того, в центре отечества. И вот от нее остались поразительные записки. Я воспряну душой, сердцем, просветлится, порадоюсь, даже как-то успокоюсь за нас, за людей, но читать, упаси Бог, не стану. Я особо как-то даже прочувствую предположительный стиль и дух ее записок. Даже почти увижу внутренним зрением какие-то камни, просшие травами стены, погоду ее духа, дрова ее одинокой светлой тяжести. Поверю, но не стану убеждаться. Вот так. Ну уж, а если мне скажут, что вот одна там биологиня, н. с. из такого-то института, что-то там корябала по ходу своей жизнедеятельности, я просто плюну.

А вот если мне скажут, что запись есть магнитная, как Бродский утром встал один у себя дома, вернее, сначала лежит, вздыхает, читает, шуршит, не хочет вставать, судя по скрипам и томлению пленки, потом встает, тапки нащупывает, шаркает вдаль, там вода течет, потом бурлит, потом молчит... — я стану прослушивать эту кассету.

Смею ли я рассчитывать быть прочитанной?

ПОПЫТКА ЗАВИСТИ

Как же это мы допустили (ну, есть же, надо думать, все еще, какие-нибудь мы), как мы допустили, что стало не смешно? Это же равносильно сдаче последнего бастиона. По молодости можно было бы воскликнуть: "О, почему я не Салтыков-Щедрин!" Но, вот ведь какая штука, не только молодости уж нет совсем, а еще и пол как-то не тот. Вот, где кроется самый главный червь сомнения и неуверенности в себе, успешно заменяющий внутреннего редактора. Только скажи что-нибудь, ведь сразу тебя поймут, да как поймут! Сразу всем станет ясно, чего тебе в жизни не хватило, не досталось, что попало не такое, в какой фазе земного бытия не пребываешь и т. д. и т. п. Хорошо было Гоголю, Гаршину, Достоевскому, — да всем им было хорошо! И Пушкину было хорошо, и Толстому хорошо. Про них все известно, но они окружены тайной. Вот только, кажется, Лермонтов, да еще, может быть, Чехов, несмотря на то, что усердно окружили себя тайной, возможно временами не чувствовали себя мужчинами. Какая-то золотуха, унизительный туберкулез кишечника, настроение, самочувствие, — м. б., приближали их чуть-чуть к легко вычисляемому состоянию существа слабого пола. А, может быть, и нет. Кто знает? Андронников, что ли? Казалось бы, никто так

не прозрачен и не известен, как мужчина. А вот, поди ж, некоторый возьмет и сможет что-то этакое, непонятно, как и откуда взявшееся. И, вроде бы, ясно, что, мерзавец, себя только и разоблачает, иначе откуда бы он все это знал, но все равно, что-то произвел конструктивное, черт его побери! И все — иди на кухню и не возникай.

А вот теперь все-таки, в связи со всеобщей исчерпанностью всех ширм и покрывал, может, и забрезжит некий род равенства, но уж не в том возвышенном смысле, а в другом, гораздо ближе к такому, например, соображению, что, мол, перед смертью все равны. Вдруг да и станет можно, то есть сможет как-то весело и бескорыстно возразить всеобщему обязательному воодушевлению. (Да нет, уж лучше сказать — энтузиазму, который отдает каким-то туземным миазмом и не тербит безнадежно устаревшую душу.)

Вот, если бы можно было сказать: "Чему смеетесь?" Так ведь никто не смеется. В этом весь и ужас и отгадка. Последнее отдали — продали чувство юмора за какое-то разрешение того, долгое неразрешение чего уже произвело свое разрушительное действие. Это как если запрещали бы зубы лечить долго-долго, а потом — разрешили, а уж — та-а-ам!...

И все же не могу я удержаться от того, чтобы поведать всем, на что похожа наша перестройка. А она похожа на перенос дачного сортира со старой ямы на новую. Ну, разумеется, всем сразу стало видно! Все не поодиночке, а все при всех увидели, — какое дерьмо! Как мы, оказывается, гадили, сколько мы, честно говоря, нагадили. Каждый-то ходил, видел, но почему-то не рассказывал, не признавался на каждом углу, что он там делал и что он там видел. А теперь другое дело! Боюсь, после такого зрелища первое время и на новом месте ясно будет, что он или она сейчас там делает. Уж очень свежо, если про такое можно сказать — свежо, в памяти и даже непредвиденно поучительно это большое дерьмо. Вот — молчали и гадили, гадили и молчали. Теперь уж надо новую яму отгрохать по всем правилам науки и техники, а пока мы еще такую сможем отгрохать, пока — переходите на хозрасчет, т. е., питайтесь своим г... От этого, может быть, научитесь как следует работать. Другие университеты нам не по карману.

И не исчерпан этот образ, как не исчерпать эту яму. Я могу и дальше придумывать, что, мол, целью ставили спускной сортир соорудить своими силами, чтоб никакого дерьма не было — как конечная цель. И космос берусь сюда приплести. (Мы, например, против загнивания космоса, так как сами еще до сих пор: кто под забором, кто под овином.) А экологические проблемы, особенно нашу озабоченность состоянием Женевского озера? А поворот сибирских рек? Дело, кстати, еще не решенное, еще не известно, куда по будущему проекту спускать дерьмо будем, — по карте вверх или по карте вниз? Т. е., что важнее

побойчее удобрить: наш славный Север или наши незаслуженно заброшенные пустыни? Поистине, словоблудие неисчерпаемо, т. к. все слова объясняются и определяются другими словами, а те — в свою очередь... Так недолго поверить в бесконечность времени, отпущенного нам на... вот тут, в вопросе "на что?" мнения обычно расходятся у разных течений и направлений.

Каким же салом смазано бывает то, к чему все люди-мышы устремляются? Что это каждый раз? Лже-добро? Или просто там, позади уже все безнадежно, с верхом загажено и подпирает? Ну и давай — на новом месте, с новым смыслом, за новые деньги и идеалы! Лишь бы будущее мерещилось впереди! Причем, желательное, ближайшее. (Кстати, можно и о печати потолковать в связи с употреблением печатного слова вместо туалетной бумаги.) И вот, что страшно: как все это ни смешно, в результате — не смешно. Вот ведь эка незадача — как все быстро кончается, иссякает! Только что предположили, что стало не смешно, а уж — все, устали, считаем, что доказано, раз силы все потрачены, — и не смешно! А мужчина бы тут как поступил? Он бы так быстро не сдался. Он бы развил, накрутил, нарастил и развез. Ему ведь семью кормить надо, да и вообще — кормить. Я уж давно пытаюсь проповедовать среди редких своих слушателей, что величие писателя определяется тем, скольких он накормил. Ну, Пушкин, например, даром, что камер-юнкер, долги и тому подобное, а уж сколько поколений пушкинистов с их семьями накормил, и все еще не доели, еще собираются, похоже, остаточные тайны исследовать, допонимать и истолковывать, а то и просто им как словом пользоваться всюю: Пушкиным мерять, привлекать, называть — одним словом, всячески пристраиваться: мол, и я есть хочу, и платить должен. Но даже и простой, обыкновенный литератор (пусть его никто потом читать не будет, как потом вообще никого читать не будут) — но сегодня, сейчас, он должен облечь прозою свою небольшую мысль, нарастить мясо бытописания или, на худой конец, жирок исповеди на рахитичный скелет своего замысла. Ну что мешает одну свою, взлелеянную вечером и до утра не забытую, мысль уступить какому-нибудь персонажу, а сомнение в ее правоте и подозрение мысли своей в банальности — подарить другому? И столкнуть их, мерзавцев! Уж тут легко их в двух словах подать понятненькими, каждого по-своему гаденьким, как мы все — и столкнуть мерзавцев! Так ведь спор получится на несколько страниц, как у Федора Достоевского. А, главное, он, этот спор, очень русским окажется, что тоже как бы само собой образовалось, но зато как здорово, что легко далось, а как ценно, сейчас — особенно! Поместить их по нашим свободным временам можно куда угодно, хоть на кухню, хоть в комнату. В дурдом можно, если вы оттуда уже пишете, т. е., не из дурдома, а совсем уже оттуда. А тут пока еще только посмертно можете такое, про всякие места писать понемножку. Да, что говорить, мужчина бы сейчас этим спорящим выделил бы по женщине или, что чаще бывает, одну на двоих, так

и проще, не разбрасываться, всю мощь своего воображения одной отдать. Можно также легкий сюр подпустить, чтобы она была одна, но в разных ипостасях и исторических эпохах. А можно, наоборот, одну, вам хорошо известную, описать в нескольких обличьях, в разных социальных слоях, мастьх и комплекциях. Порезвиться, одним словом, а оно само как-то помогает, пишется, на что-то похоже становится, делается узнаваемым как будто или, еще лучше, приблизительно узнаваемым. И читающему тогда что-то такое начинает сдаваться и казаться, будто он встает внутри себя на цыпочки и тянется, и, таким образом, как музыкант композитора, исполняет вас. Это ж какой процесс вызывается к жизни, чуть ли не духовный! Это же почти что реальное воздействие. Стало быть, есть она, литература, раз читающий шею вытянул, читая, и встал внутри себя на цыпочки!

Литература ведь, какая штука, — тут все в дело пойдет! И умение и неумение ваше. Я уж не касаюсь тех случаев, когда литератор способен сюжет закрутить. Тут просто, слов нет... и Бог ему судья.

Нет, решительно мне не справиться с задачей, не написать мне ни строчки! А у них как? У некоторых вообще — ни дня без строчки. Ну, другие, конечно, по-другому работают. Связывают себя бременем аванса, договора, срока сдачи, — и пошла писать губерния! Тут уж по необходимости напишешь, долг чести и прочие долги обязывают. И все тут. Потом, конечно, как опростаяешься, в нормальном состоянии ничего не пишешь, дела делаешь, новых впечатлений набираешься, не для того, чтобы про них думать потом, а желательно, чтобы они сами в тебе в нужный момент вскипели и в критический срок выплеснулись в любом порядке: чем причудливей, тем они окажутся талантливей, а, главное, — истинней!

В общем, чтоб писать, надо быть мужчиной, иметь талант или хотя бы уважать себя от лица других людей. Вот в чем штука!

ПОПЫТКА НРАВСТВЕННОСТИ

Нравственно, безнравственно... Казалось бы, ну что? Смешно же просто заранее про все почти считать, что это безнравственно и потому не затеваться. Конечно, гораздо лучше, когда нечто такое внутри имеется, и само прямо-таки не допускает до некоторых мыслей и чувств, само опять-таки ведег, как лоцман, меж дурных поступков, щекотливых положений и т. д. и т. п. Хорошо, коли так. А как быть с доверием? Оно безнравственно? Ну, обманули тебя, что нет, мол, вокруг ничего щекотливого, все пусто, мы первые, — ан, потом оказалось, что сия пустыня перенаселена, как Ноев ковчег. Что тогда? Надо быть умнее? Лоцман должен чутя обман? А если и обманщик обманывался искренне? Не придавал значения тому, чему он действительно до сих пор

не придавал значения? А оно — хрясь, и зазвучало, как оркестр, вдруг! Как в шутке про хоровое пение: "Выхожу один я на дорогу, а со мною сорок человек".

Ну да, ладно! Я пишу для тех обделенных Богом бедолаг, у которых нет этого лоцмана или они, в силу плохого воспитания, не смогли вовремя вступить с ним в гармонические отношения. И у них, как и у наделенных лоцманом, да еще даже гораздо чаще, в жизни что-нибудь такое происходит, набегают какая-то волна судьбы. Как не ошибиться, коли лоцман спит внутри богатырским сном? Как, иными словами, не поступить дурно, хотя бы и с одной стороны, — достаточно поступку быть дурным только с одной стороны, чтобы вообще оказаться дурным поступком. Для этой мучительной сомнениями ситуации я предлагаю рецепт, простой и глубоко материалистический по содержанию. Способ установления моральной ценности поступка состоит в снижении, в приземлении его смысла. Надо воображаемый и анализируемый жизненный шаг мысленно совершить и оказаться в следующей ситуации и так далес, причем без всякой философии и трудных для запоминания соображений. Нет, думайте лишь о насущных проблемах, об обстоятельствах места, времени, действия. Об этической стороне стирки белья, хотя бы.

Вот, допустим: он и она. Резко почувствовали друг к другу светлое и мощное, похоже, очень даже духовное тяготение. Она, допустим, свободна, с ней это чаще гораздо бывает. Даже если там и ребенок — все нормально, можно все-таки подобрать соответствующий стиль и ритм отношений. Во-первых, ребенок многому сам рад и не мешает, а потом, ложится же он когда-нибудь спать, ездит к бабушке, тете и т. д. Да, эти шкеты обожают дружить с дядями, не отобьешься, а если культурный человек — то и сам очень привяжется. На эти пустяки даже не хочется время терять, обсуждать. Нет тут ничего безнравственного! Дядя и дядя. Украшает жизнь. Но, вот он-то, как правило, малость как бы даже несерьезно, но женат. Это что-то вроде субботника такого, на который он идет как-то раз вместо субботней встречи. Так, задержка на работе. Что-то такое механическое, ужасно обычное. И жене он нужен не больше, чем стране его труд на субботнике. У нее своя жизнь, да уж сто лет нет ничего между ними. Она уже не хочет, он не может, да и что там! Она и сама, если бы не эта старомодная мораль, с удовольствием с ней бы дружила и спать у себя дома оставляла, хоть и в супружескую постель. Веселее было бы! Это все так, но неумолимый ход вещей, именно вещей — материальная сторона жизни (я вам докажу!) является опорой морали.

Ну, встретились! Ах! Прелесть! Чувство-то светлое! А переночевать нельзя, а надо ждать, когда уснет ребенок (смотря еще сколько ему лет), а потом поглядывать, сколько времени осталось на

светлое чувство до того, как надо бежать, чтобы соблюсти приличие на том самом субботнике... Унижает вас такая ситуация? Черта с два! Она ровнехонько вам соответствует. Или вот: он довольно равнодушно жизнь проходил, а теперь такое светлое чувство, что ни ногами, ни руками – хорошо бы не омрачить на близком расстоянии обретенное сокровище. Короче, надо чаще мыться-стираться. Но невозможно же, явно безнравственно старую добрую жену заставлять вдруг как-то интенсивнее и качественнее стирать в связи с этим, или смешно вдруг начать самому себе что-то там отутюживать. Ладно, не чужие, ведь чувство-то мощное, взаимное, светлое – она бы уж ему сама постирала, с какой любовью, легкостью, грацией! Но как это можно? В мокрой рубашке идти обратно или без трусов? Вот тут все черти и запрятаны! Такие несуразности, бытовые нелепицы – это и есть дьявольские отгадки. Только черти торчат, ангелы молчат. Невозможно соответствовать светлому чувству!

А в машине вместе кататься? Это ж вообще невинно, просто приятно, радостно – перемещаться, беседовать с тем, к кому мощно тяготеешь душой. Но ведь увидят! Увидят не души, летящие друг другу навстречу – увидят, что он бабу какую-то постоянно в машине возит. Недоразумение? Нет, дудки, так оно и есть! Именно бабу – именно возит! А это аморально, всем ясно, и самым светлочувствующим – в первую очередь. Ну, уж сразу машина? Будто о буржуазии речь! Ну, не машина! А возникнет ли нечто мощное без машины, без пьянки-гулянки, без общего праздного мероприятия – это еще ох какой вопрос! И опять это неприятное соображение, что вещи нами движут, и они же нас учат: что хорошо, что плохо. Ну, не упрись во все эти мокрые трусы, невозможность найти приют для счастья общения, позвонить, когда захочешь и т. д. и т. п., не задохнись от этой якобы затхлой реальности – все было бы в помыслах, да на словах: один сплошной полет шмеля и высокая материя. Кому же может вред причинить такой вот полет шмеля? А вот, поди ж, негде ему летать, некогда, кроме как в мыслях. Да, препятствия – это великая вещь. Все о них разбивается, причем – в пух и перья. Тут то самое место, где происходит ловкая, основная в жизни подмена – помыслов на реальную жизнь. Это как мультик такой. Идут они, только что взявшись за руки, вдруг – бух! Огромный шкаф, или буфет падает неизвестно откуда и перегораживает им дорогу. Такой громоздкий, старый, со всякими излишествами, ящичками, резными фестончиками для пыли. Приходится принять как-то это явление, заглянуть внутрь, а там жучков тьма и запах от них такой знакомый и неприятный, труха какая-то, а буфет, в общем, хороший, по нашим-то временам, вообще, вещь, что и говорить. Ну, незаметно как-то уж она-то вникает в этот предмет. Люди же, все-таки! Начинает там пыль отовсюду ковырять, уксусом трет от этих жучков – да, признаться, поборов отвращение, хватает их часто прямо пальцами, противно, но так честнее все же, быстрее достигается! Короче, вся она в этом буфете, а он вначале как бы

слегка подвинул его, чтобы ровнее стоял, совсем перпендикулярно их воображаемому пути, потом покряхтел рядом с тяжелой вещью и заскучал, конечно, вскоре. А что, собственно? А потом вообще куда-то делся! Она уж и бросить этот буфет не может, но и конца ее трудам не видеть. Так и в жизни. Она ведь и думает-то все время о нем, да об их временно приостановленном этаким пути, но сама все трет, выметает... Буфет-то все равно на пути стоит. И кажется, что им занятие и есть – тот самый путь одолевать, пока, правда, на месте. Так и в жизни.

Может быть, вся материя пресловутая так же – бух! – на нашу дорогу к цели, чтобы научить нас (как слепцы читают наощупь), что можно, а чего нельзя? И выходит, что материалистами надо называть тех, кто обращает внимание на вещи, и у них учится наощупь и верит им как знакам. А идеалистами тогда уж ругать будем тех, кому все по фигу, кто делает одно, а думает другое! А с другой стороны, без тех мерзавцев, прямо скажем, которые столь лицемерны, все бы мы в том буфете так и остались бы, стерев от честности пальцы до кости...

А прорываться к вершинам? А умирать и возрождаться из пепла? А раскаиваться и забывать? А воспарить и так остаться? Да мало ли! А не замечать ничего вокруг? А верить?

Господи! Во что же упереться, чтоб продолжать свой путь?

* * *

Андрей КАВАДЕЕВ

СОКРОВЕННЫЙ ВЕНЕДИКТ

рассказ-полет в трех эмпиреях

Квази-эмпирея

Есть два хороших русских слова, некогда бывших одним — "скромность" и "скоромность". Человек "скоромный", однако, никогда не отличался "скромностью", в то время как человек "скромный" всегда боялся "оскоромиться". Тонкая граница в значении этих слов — и есть та этическая грань, по которой, как по ножу, ходит давно уже русская литература. Неслышим, неуловим момент, когда писатель оставляет эту грань — "скоромится" или, наоборот, "становится скромным". Венедикт Ерофеев — лучший пример "скромности" и "скоромности", как, впрочем, и равновесия между ними. Таким я его увидел в собственной своей "нескромности", таким и описал: скромно, сокровенно.

I. Иллюзия брудершафта

Странное дело: все, с кем ни заговаривал я о Венедикте, тотчас "пускались в снисходительность", "добрели", на лицах появлялась свежая улыбка: "А, Веня..."

Фабула — продолжалась, снова вписывая призму доверчивых Петушков в контуры холодной, снисходительной столицы.

Персоификация — наблюдалась:

Петушки — вечный, "присуше-сушный", "свой", "брудершафтный" Венечка; и Москва — все его критиканы и критикессы, от которых дает деру "пригородный поезд души его", но с неминуемостью оказывается вновь в исходной точке их дружества.

И вот Петушки-Ерофеев делается лауреатом, увенчанным Садовым Кольцом, Кремлем и монументом Минину с Пожарским.

Москва поглощает Петушки-Ерофеева так же, с тою же мощной, нерассудительной силой, как в свое время поглотила Рязань, Коломну, Александров, Тверское и Суздальское княжества. Победителей — не судят, судят — побежденных: в знак покорности из Твери привезен был некогда черный вечеровой колокол. Теперь настала очередь Петушков и они обретают кондовые московские атрибуты как бирку заключенного или ярлык вассала.

Завоевание Петушков — вот с чего начинается любой критик. "Рука Москвы" угадывается сразу. И вся она — в раздаваемых оценках. Факт точности оценки при этом совсем не важен: "исповедь россий-

ского алкоголика" (С. Чупринин) или "воспроизведение образа жизни" (В. Муравьев) – ступени одного завоевания, факты одной оккупации.

Замечательно иллюстрирует эту "эмпирию" тот петушковский старичок, который искренне полагал, что пить "на брудершафт" – значит украсть в аптеке одеколон и распить его в уборной.

Все понимание, вся критика "Москвы-Петушков" – плод этого неправильного словоупотребления.

Критика – это перевод в границах отпущенного непрочтения.

В прошлом веке "Ярмарку тщеславия" Теккерея переводили с природного английского как "Базар житейской суеты".

Перевод с русского на русский – дело куда более фатальное, поскольку держится на "завоевании" критиком авторской территории со всей площадью ее микроскопической свободы.

"Базар" и "Ярмарка" – перевод длиной в век...

II. Житие

Впрочем, ни изрядный сюжет, ни дионисийское винопийство, ни вакханалия образов, ни очевидный юмор метафор, – ничто не вызывало во мне особого беспокойства. Это отсутствие беспокойства волновало меня. Я не мог упрекнуть себя в равнодушии или равновесии – роман живо интересовал, но совсем не мучил, не пронизывал, не возмущал. Во мне был абсолютный покой при чтении. "Покой причастицы перед причастием", – успел вспомнить я и тотчас запнулся, как о ступеньку, за странную, брошенную как бы наощупь фразу: "Я страдал и молился". Страдал и молился? Вот как! Но разве и я только что не испытывал нечто подобное? Ритм, ритуал, молитва, молитвослов, – все похоже на вывернутое, "вывихнутое" житие, свойство которого – человек, подвиг его и вериги его.

"Похмеляясь, прячусь от неба и земли", – вот где я нашел тебя, Автор!

Конечно же – житие и все атрибуты его: одиночество ("О, эфемерность!"), келья (вагон, Москва), вера ("так будьте же совершенны"), бесы (Сатана и Сфинкс), ангелы (те, что пели), Богородица (не важно, которая – княгиня или проститутка), мир – вместилище скверны ("горек град сей").

Вместо пресных доказательств взял я житие инок Епифания и раскрыл его на знакомой странице: "И вскочил ко мне в келию бес, яко лютой и злой разбойник и ухватил мене, и согнул вдвое, и сжал мя крепко и чуто зела; невозможно ми не дышать, ни пишать, только смерть. И еле-еле на великую силу пропищал в тосках сице: "Николае, помози ми!" Так он мене и покинул, и не вем, куды делся. Аз же, греш-

ный, собравшись с душою моею и со слезами начах глаголати с великою печалию ко образу вольяшному Пречистыя Богородицы сице: "О пресвятая Владычице моя, Богородице! Почто мя презираеши и не брежеши мене, беднаго и грешнаго..."

Два голоса во мне слились и стал один. Инок Епифаний и инок Венедикт делили скромную трапезу свою и была им одна участь: принять муку и быть убитым.

И снова — странное сближение с Москвой: инок Епифаний, преследуемый и погубленный за старую веру "московскими еретиками" царем Алексеем и патриархом Никоном и "инок" Венедикт, фатально наказуемый Москвою за "небрежение" к ней, за отречение от культуры ее, символически выраженного Кремлем. "Ересь" Венедикта — "старая ересь"; "старый обряд" — это вечное бегство прочь отступления "от Христа истинного" с целью сохранения души и того, что в ней.

Натянутое сравнение с "Мертвыми душами" оправдано только в обратном понимании "купли": у Гоголя живая душа покупала мертвые, у Ерофеева мертвые покупали живую.

Покупали — но не купили.

III. Дерзание

Любимое ерофеевское словечко "дерзание" хорошо объясняет некоторые свойства его "дерзости".

Позволим себе тавтологию: "дерзновение — вещь дерзновенная".

Если жизнь есть некий огонь от неизвестного нам огнива, то лучи этого света и назовем спектром человеческих дерзаний. Чем больше лучей в спектре, тем полнее и противоречивее сам свет, в простодушии называемый не иначе как "личность". Всякая нетривиальная "личность" пронизана и внутри и вовне нимбом "лучей-дерзаний".

"Дерзновение" Пушкина суть не только поэзии (первый луч), но и история (луч второй), художество (луч третий), верховая езда (луч четвертый), политика (луч пятый), воспитание детей (луч шестой), издательские труды (луч седьмой) и т. д.

Луч — это нити таланта и любопытства, направленные на предметы разнообразные и непознанные. Свойству гения никогда не соответствует узкая привязанность к поэзии и (или) прозе. Гений как явление природы постигает природу во всем ее многообразии. Литература, искусство — только малая часть ее. Этимология Набокова и этимология Пушкина — не менее дерзновенны, чем вся написанная ими литература.

Вот дерзания Вени: грузчик, геолог, библиотекарь, монтажник, связист, литератор.

шей идеологической и эстетической цензуры. Вплоть до горбачевского ограничения на спиртное, пьянство, как и сквернословие, просто существовали, но ни в коем случае не "культивировались". Ныне все наоборот. О водке теперь, наверное, больше пишут, чем ее пьют, да и "мат" начинает потихоньку проникать в литературный язык. Обсуждение "темы алкоголя" раньше могло вестись только в отрицательном ключе, исключения были возможны лишь в неофициальной культуре. Такой бесстыжий, проспиртованный герой во времена Брежнева не мог и осмелиться претендовать на появление в печати. Но только ли в водке суть дела? Все ли зиждется на проникновении в эту область табу, которое сделало издание невозможным? И разве только благодаря этому "Москва – Петушки" является столь смелой, едва ли не гениальной вещью, "классическим" текстом нынешней "новой" прозы?

Приятеля Ерофеева (Ломазов) в 1962 году, прочитав его прозу, сказали: "Ты пишешь Евангелие Русского Экзистенциалиста". После открытия поэмы "Москва – Петушки" западными издательствами ею заинтересовались многие литературоведы, подтвердившие это предположение. Они установили, что провоцирующий характер текста лежит в пародии на Евангелие, точнее, на библейские эпизоды воскрешения (Лазарь, дочь настоятеля храма). Это показали Б. Гаспаров и И. Пэпэрно в своей статье "Встань и иди", опубликованной в иерусалимском журнале "Slavia Hierosolymitana" (V–VI, 1981). В одном из интервью Ерофеев сказал, что знает многие библейские тексты наизусть, а его иронические замечания о собственной смерти (и воскресении) дают повод попытаться установить: что именно пародируется в поэме и однозначна ли эта пародия?

Вот наиболее важные (внешние) моменты действия: герой поэмы, по имени Веня, просыпается с перепоем в московском подъезде и собирается в дорогу, в Петушки (120 километров на восток от Москвы), где живет его подруга. На Курском вокзале герой пытается заказать в ресторане хересу, дабы опохмелиться – но это предприятие не увенчивается успехом: "...вымя есть, а хересу – нет". После покупки двух бутылок "Кубанской", двух четвертинок "Российской" и "красного" герой отправляется в Петушки. Его поездка – сплошное пьянствование, прерываемое монологами в тамбуре и разговорами с пассажирами, контролером, а вместе с тем, и с Богом, ангелами, чертом, Сфинксом, Митридадом, Тихоновым, камердинером Петром и с маленьким сыном героя. "Лирические" отступления – это рецепты коктейлей из политуры и лака для ногтей, воспоминания о жизни в коммуналке, о работе, и, конечно, размышления о литературе и философии (помимо русской, преимущественно немецкой: даже Шиллер – как видится автору – мог творить, лишь испив шампанского и опустив ноги в ведро со

льдом). Путешествие не кончается в Петушках – после совершения геросм огромной петли через московские пригороды на лестничной площадке московского дома его убивают четыре незнакомца...

Венины состояния: "похмелье", "поиски алкоголя", "опохмеление", "алкогольная горячка", "смерть" – пародируют Страсти Господни своими инверсиями, перестановками. Страсти Христа – это крестный путь, распятие на кресте и смерть. Сюда же относят Тайную Вечерю, с темой самопожертвования и мученической смерти, и Воскресение в день третий. Последовательность такова: 1. "Тайная Вечеря"; 2. "Крестный путь"; 3. "Распятие на кресте"; 4. "Смерть"; 5. "Воскресение". У героя же "Москвы – Петушков" все "страсти" происходят в течение одного дня (вернее, ежедневно): в его Страстной неделе – "семь Страстных пятниц". 1. Венины страсти опохмеления; 2. Поиски алкоголя в ресторане Курского вокзала; 3. Похмелье; 4. Горячка и смерть; 5. Оживление после опохмеления. Последовательность, которая играет важнейшую роль в Страстях, перевернута: герой причащается после воскресения и т. д. Мирское опохмеление в тамбуре способствует воскресению "мертвого" Вени, пьянство с пассажирами – трагедийная Тайная Вечеря. Кошунственные знаки равенства ставятся между водкой и даваемым в причастии вином, "кровью Господней", между "похмельем" и "распятием", "опохмелением" и "воскресением из мертвых". Несмотря на то, что герой, второй Лазарь, на протяжении всей поэмы призывается: "Встань и иди!" – воскресения в христианском смысле не произойдет – только každодневное мучительное "воскресение" пьяницы. И как бы ни напрягался Вени-мученик – истинного, окончательного воскресения, которое бы пресекло этот алкогольный цикл, ему не дано. "...Небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал". Был ли он уверен в своем сходстве со святой Терезой и даже с Христом, которому он (как и многие другие литературные персонажи) подражает?

Можно было бы предполагать, что такое отнюдь не набожное ерничество в официально атеистическом Советском Союзе в 70-е годы должно было быть желательным? Нет! – после двадцатых годов, когда проводилась беспощадная антирелигиозная кампания (достаточно вспомнить Отца-Бога в очках на карикатурах Д. Моора, А. Дейнеки или А. Радакова в журнале "Безбожник" или гротескные пуза попов у М. Черемных в "Окнах РОСТА"), карнавально-пародийное кошунство, самовольное, не контролируемое беснование против церкви и ее учреждений было скорее исключением. Тому немало причин. Россия во многих отношениях оставалась верующей, точнее, суеверной страной: богохульство и профанация "святых" имен и предметов (к каковым относились и бюсты Ленина) в официальной культуре были также нежелательны, как и порнография, непристойность, печатная матерщина. "Молодыми моск-

вичами", вдохновляющимися то на баварском Штарнбергерзее, то в Париже, ведется борьба против сексуальной чопорности, но до сих пор не удалось в значительной мере изменить исконно русское отношение к "магическим" вещам и словам. Подобное было бы под силу лишь при уничтожении, разъятии русского дуалистического мировоззрения. К счастью, этого еще не происходит. И Венедикт Ерофеев не брал этот оплот русской души приступом – он скорее являлся представителем "апокалиптического реализма", по определению Юрия Айхенвальда.

Однако, богохульная пародия Ерофеева не похожа ни на самоуверенную издевку воинствующих атеистов, ни на описания "житий святых проституток" у постмодернистов. Корни его кощунства нужно искать в дореволюционном времени. В одном из интервью ("Литературная газета", январь 1990) Ерофеев сказал, что из писателей его связывает наиболее тесное душевное родство с Зинаидой Гippiус, что он высоко ценит ее и как поэта, и как личность. Именно фигура Гippiус (1869 – 1945), поэтесса символистского направления, указывает, где нужно искать эти корни. В 90-е годы она слыла декаденткой, "дьявольской мадонной", а уже в начале XX века превратилась в неохристианку и исповедовала метафизику любви к Христу.

В пресловутом треугольнике с мужем Д. Мережковским и Д. Философовым З. Гippiус пыталась заложить "новую церковь святой плоти и святого духа". С 1901 года квартира Мережковских стала местом "священного действия", где за участием этих трех символистов совершались "божественные литургии". "Агапэ" – причащение, возобновляющее божественную любовь, должно было подтвердить единство их троицы, состоящей из отца, сына и святого духа в женском варианте (anima). Очевидно, ново-религиозное искусство символистов стало точкой соприкосновения между Ерофеевым и представителями символистов – это подтверждает и его почитание В. Розанова.

Другой классик русской религиозной философии – Владимир Соловьев, который своей "софиологией" (учением о спасении посредством "вечной женственности") со своей стороны сильно повлиял на символизм. И если Гippiус адресует свои пылкие стихи Христу, то Веня тоскует по женской ипостаси Троицы, по светлоликой Софии, которая, однако, живет в Петушках. Веня рассказывает о свершившемся с ним чуде: "воскресении", чему он обязан женщине.

Профанация предмета религиозного почитания и мирская прагматика религиозно-возвышенного языка принадлежали еще со времен прошлого столетия к привычным приемам русской словесности. Собственно говоря, все это начиналось уже Достоевским: Соня (София!) Мармеладова идет на панель ради своего отца-пьяницы и одновременно спасает Раскольникову чтением из Евангелия и своей "вечной женственно-

стью". В конце XIX столетия Богоматерь была окончательно "заменена" другими ипостасями женственности, например Софией (мудростью) или Прекрасной Незнакомкой, которая, впрочем, оказывается проституткой. Точно так же обстоит дело с Веней – его возвышенный объект любви в Петушках тоже – проститутка.

Открытое сплетение божественного и эротического давало символистам возможность шокировать русскую публику. У Достоевского Соня Мармеладова еще остается абстрактной б... – не телесной. Поздний символизм делает из встречи с Богородицей фарс. Манихеистический сатанизм у Федора Сологуба ("Мелкий бес", 1907) соединяется с садистическими фантазиями; гомосексуальная эротика Михаила Кузмина и вакхические гимны могут служить примерами чувственных сплетений Эроса в религии.

Венина "литературная горячка" особенно близка второму поколению символистов (Андрей Белый, Вячеслав Иванов). Эти поэты стремились к дионисийскому, вакхическому экстазу, который описывает О. Хансен-Леве в своей "Психопозитике русского модернизма", употребляя психологические термины Юнга: "Я должно обратиться в Оно – этот путь совершается в искупительном деянии Страдающего Бога" ("Венский Славистский Альманах", вып. 31, 1991). Советский Дионис – Веня по дороге в Петушки испытывает слияние с народом; средство – совместное пьянство. Символизм изобилует мотивами "погружения", "опьянения" и "экстаза", для модернизма в целом характерно стремление к реинтеграции в коллективное "мы". Самоуничтожение "я" в регрессе составляет только первый шаг к искуплению; второй шаг – "воскресение", как это понимал Вяч. Иванов (Хансен-Леве). Экстаз, который искали символисты, должен был привести по дионисийскому принципу (расчленение тела) к погружению в подсознательную сферу, к потере "я" (как вещал Юнг) – у Ерофеева же это осуществляется в алкогольной горячке и умерщвлении героя. Венедикт Ерофеев обновляет религиозную философию Вяч. Иванова в мирском облачении, в пародийном сюжете. Загадка воскрешения скрыта на дне чаши страдания и недоступна нашему миру, неопишима нашим языком. Создается впечатление, что Веня материализует своей судьбой стихотворение З. Гиппиус "До дна" (1906):

"Люблю я отчаяние мое безмерное,
нам радость в последней капле дана.
И только одно здесь я знаю верное:
надо всякую чашу пить – до дна".

И Веня выпивает всякую чашу до дна – на всякий случай! Его "алкогольная философия" – возможность реализации страданий (в христианском смысле). Ведь алкоголизм тесно свя-

зан с физическими страданиями. Веня верит именно в преобразование физическое – терзание, разложение тела спиргом (что означает: духом – вспомним латинский корень этого слова – spiritus). Но путь спасения пьяницы проходит по крутому пародийному маршруту – надо знать правильные "рецепты искупления": "Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах" (коктейлей!). В этом отношении Веня – настоящий алхимик, ибо верит в прижизненное преобразование порочного человеческого тела. Алкоголь для него только орудие спасения, он же ищет "живую воду" или философский камень: "Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, Господи, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь..." Результаты же действия коктейлей разные: "Ханаанский бальзам" порождает "вульгарность", "Слеза комсомолки" лишает поочередно "здорового ума" и "твердой памяти", самый же совершенный напиток – "Сучий потрох": "Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет". Это – пародийное описание христианско-мученического поведения...

Вернемся к нашему изначальному вопросу: почему поэма "Москва – Петушки" была запрещена? Даже если ее все-жощунственный характер и разбивал те или иные табу, это само по себе не могло быть достаточно веской причиной. Провокация "Москвы – Петушков", по моему мнению, заключается в психологически более сложном феномене советской культуры, который Игорь Смирнов называет "мазохистским психотипом" (Russian Language Journal, Michigan, 1987): "Только мазохист и может быть сочен подлинно тоталитарной личностью..." Речь идет о наслаждении, получаемом от страданий – такое возможно лишь в христианской ценностной системе и в советском обществе (И. Смирнов пишет о сталинских временах). По Смирнову мазохист "добывает свою индентичность путем отрицания своей индентичности". Такой тезис подозрительно легко повторяет клише о русской способности страдать. Сознвая, что подобная национальная типология (и патология) опасна, все же хотелось бы мысленно сопоставить ее с поэмой Ерофеева. Нужно лишь прежде обосновать предположения о специфически русском мазохизме на конкретных примерах советской духовной жизни...

Исследованием "потемок русской души" (прежде всего на материале литературы) в последние годы наряду с И. Смирновым занимались Катерина Кларк ("Редукция соцреализма к архетипическим образам и психотипу шизофрении" – в книге "The Soviet Novel", London – Chicago, 1981), Борис Гройс (в книге "Gesamtkunstwerk Stalin", в статье "Россия как подсознание Запада", "Венский Славистский Альманах", № 23, 1989), Борис Парамонов (анalogии между философией Н. Фе-

дорова, большевизмом и гомосексуальностью – журнал "Континент", № 54, 1987): "Федоровский и бердяевский максимализм – это максимализм людей, которым нечего терять, у которых отсутствует любовно-брачное отношение к земле, миру, бытию. Поэтому в самой психологии своей они моделируют метафизический тип большевика"; Михаил Эпштейн (материализм как Эдипов комплекс: советский герой убивает отца (царя), чтобы овладеть матерью (материей) – в журнале "Столица", 1991). И концептуалисты (в первую очередь Д.А. Пригов и Владимир Сорокин) своим монтажом из передвижных декораций советского быта (и соцреализма) или заимствованием нацистской тематики ("Невеста Гитлера" Д.А. Пригова, "творческий отпуск Сорокина в концлагере Дахау") содействуют художественной обработке этой тематики. Так сегодня преодолевают свое тоталитарное прошлое: с минимальным разоблачительным пафосом, скорее, браконьерствуя на пожухших просторах изобильных советских нив.

Вернемся к зарождению "мазохистской" культуры. В XX столетии тенденция к ее созданию обнаруживается сначала у символистских поэтов и философов. Мазохизм многое наследует от христианского мировоззрения, которое он частично и сменяет. "Страдание как единственная форма мазохистского бытия – залог непрерывности бытия как такового", – пишет И. Смирнов и применяет теорию французского философа и литературоведа Жюль Делеза "о соотношении мазохизма с законами диалектики" к соцреализму: "Стихийная диалектичность мазохиста, мыслящего всякую сущность как порождаемую отрицанием того признакового состояния, которое дано явлению..." По Смирнову вполне логично, что декадентский мазохизм в измененном виде продолжается в соцреализме 30-х годов, где он снижается до "голого психологического остова". Мазохизм соцреалистических героев заключается в том, что они от всего сердца радуются недостатку необходимых для жизни вещей: таково, например, сопротивление безрассудно отважного Чкалова спасению с парашютом из своего самолета, который не может приземлиться. Он скорее готов пожертвовать своей жизнью, чем бросить самолет (символ гениального труда советских конструкторов!) на произвол судьбы. У героя в соцреалистическом романе может быть физический изъян, что, однако, скорее помогает в исполнении долга – он справится со всем – при условии, что у него железная воля. Речь идет о прославлении отречения от своей жизни во имя народа. В стиле, как и в идеологии, можно наблюдать близость символистских стремлений самоустранения личности пред культом советского "сверхчеловека". И. Смирнов христианское понятие "кенозиса" определяет как потерю архетипической функции героя, причем эта потеря одновременно им отрицается: "Пронажа "я"-образа отражается в поведении, игнорирующем слу-

чившуюся деидентификацию личности: если "не-я" есть "я", то стать "не-я" и значит – сохранить Я".

Пародия в поэме Венедикта Ерофеева развивает эту аналогию. Герой Веня – представитель русского народа, терпящего тяжелые лишения, "повторяющего" Страсти Христа, т. е., одновременно, страдания всего человечества. Страдания русского народа Ерофеев показывает нам с комической стороны, и подчас кажется, что они тщетны. Сам смысл русского страдания, т. о. подвергается сомнению. Это больно задевает самое чувствительное место русской души; все страдания, все испытые до дна чаши, все утренние похмелья "святого пьяницы" – тщетны, подлинного воскресения – нет, в поэме оно отсутствует. Ангелы парят, порхая над Вениной головой, и хихикают. Несмотря на то, что явное нарушение табу ("невоскресение") только в конце поэмы становится ясным – оно лежит в основе всей поэмы: обнажается близость религиозного и советского политического языка, их догматов и притязаний на искупление. По моему мнению, именно дерзкое Ерофеевское перо, растрavляющее эту рану русского национального достоинства, делало (в глубинно-философском смысле) публикацию поэмы столь долго невозможной.

Мюнхен, 1991

* * *

ОБ АВТОРАХ

Сергей САКАНСКИЙ. Родился в 1958 году, в Подмоскowie. Учился в автодорожном, а затем – в Литературном институте. Печатал заметки, стихи и короткие рассказы в многотиражных и областных газетах. Первая "серьезная" публикация прозы – в этом номере "СОЛО".

Андрей КОКОВ. Жил и работал в Вологде; стихи нигде не удавалось опубликовать, в связи с чем (одна из причин) в настоящее время живет и работает в Финляндии.

Вячеслав КУРИЦЫН. Живет в Екатеринбурге. Редактировал нашумевший журнал "Текст" ("свободный" раздел журнала "Урал"), ныне выпускает альманах "Лабиринт", преподает филологию. Автор книги рассказов.

Владимир ЗУЕВ. Родился в 1951 году, в Москве. Окончил Литературный институт. Публикации прозы – в журналах "Октябрь", "Знамя", "Юность"; книги рассказов и повестей – в издательствах "Московский рабочий", "Молодая Гвардия", "Радуга", "Молодежный книжный центр". Роман-клип "Черный ящик" выходит в 1992 году в журнале "Знамя".

Владимир КУЗЕМКО. Родился в 1957 году в Днепропетровске, где живет и работает поныне на заводе "Днепропластмасс", хотя и закончил исторический факультет местного университета. Последние пять лет писал заметки в газеты, вплоть до "Известий". Прозу печатает впервые.

Андрей КАВАДЕЕВ. Родился в 1963 году. Окончил Саратовский университет, служил архивистом 2-й категории. Сейчас учится в Литературном институте, в семинаре Андрея Битова. Печатался в "СОЛО" № 4 и в журнале "Родник".

Натasha ВЕРХОВЦЕВА-ДРУБЕК. Родилась в 1965 году в Праге. Живет в Германии. Преподает славистику в Мюнхенском университете. Статья подготовлена специально для журнала "СОЛО".

Цена 3 руб.

Андрей БИТОВ:

СОЛО — потомок "Метрополя". Единственный в стране литературный журнал, полностью посвященный неизвестным талантам, которым так же трудно пробиться в условиях рынка, как и в условиях сплошной идеологизации.

СОЛО — это уникальный, с первого звука узнаваемый голос автора!

Вам надоела дезориентация нашего смутного времени, вы хотите открыть журнал, прочесть рассказ и выпучить глаза, поразившись самостоятельности и неповторимости неизвестного вам автора — тогда возьмите **СОЛО**!

СОЛО — это проба безупречного вкуса!

Если вы хотите узнать не только настоящее, но и будущее литературы — читайте **СОЛО**!